

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 30 1984



*Всеволод КОЧЕТОВ*

# *ПАМЯТНИК ДРУГУ*

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 30

---

Всеволод КОЧЕТОВ

# ПАМЯТНИК ДРУГУ

РАССКАЗЫ

*Составитель В. Кочетова*

Москва. Издательство «ПРАВДА».

1984

**Всеволод КОЧЕТОВ**  
(1912—1973)

Всеволод Анисимович Кочетов родился 4 февраля 1912 года в Новгороде. Окончив в Ленинграде семилетку, работал в порту и на судостроительном заводе. С 1931 года — агроном в совхозах и МТС Ленинградской области, а с 1935 года — научный сотрудник сельскохозяйственной опытной станции.

С первых дней Великой Отечественной В. Кочетов добровольно идет в действующую армию военным корреспондентом «Ленинградской правды» и фронтовой газеты «На страже Родины».

Первые рассказы и повести В. Кочетова — «На невских развалинах», «Предместье», «Нево-озеро» — посвящены защитникам города Ленина. В 1950 году журнал «Звезда» опубликовал его роман «Под небом Родины» (новое издание — «Товарищ агроном») — о людях послевоенной деревни. В 1952 году вышли его знаменитые «Журбины», по праву вошедшие в золотой фонд советской литературы.

Диапазон творчества Всеволода Кочетова необычайно широк. Актуальным проблемам современности были посвящены его романы «Молодость с нами», «Братья Ершовы», «Секретарь обкома», «Чего же ты хочешь?». Роман «Угол падения» переносит читателя в Петроград далекого семнадцатого года.

Много сил и энергии отдавал В. Кочетов общественной работе. Он был членом редколлегии журналов «Звезда» и «Нева», возглавлял писательскую организацию Ленинграда, редактировал «Литературную газету», а с 1961 года и до последних дней своих оставался на посту главного редактора журнала «Октябрь».

В. Кочетов был делегатом ряда съездов КПСС; на XX и XXII съездах его избирали членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Заслуги В. Кочетова перед советской литературой отмечены многими правительственными наградами, среди которых два ордена Ленина и орден Октябрьской Революции.

Предлагаемые читателю рассказы написаны Всеволодом Кочетовым в разные годы, однако их объединяет стремление показать корни величайшего патриотизма, стойкости и мужества советских людей.

## ПАМЯТНИК ДРУГУ

Кто хорошо знал технолога Евстратова, тот, конечно, нисколько не удивился бы внешнему виду, какой Николай Иванович счел необходимым приобрести для этого хотя и не очень дальнего, но и не совсем обыкновенного путешествия.

— Коля,— говорила ему два дня назад жена, вытаскивая из сундука в передней пронафталиненный серый треух, брезентовые рукавицы на меху, теплые носки и суконные портянки.— Я понимаю, сапоги... Сапоги нужны: время осеннее, дожди. А шинель-то, шинель зачем, честное слово?

— Вот «честное слово», «честное слово»!..— Николай Иванович жесткой щеткой продирал старую шинеленку.— Взяла бы лучше да вдумалась в то, что ты говоришь, Ляля. Там наша кровь лилась, там завоевывались победы, а я вдруг на местах исторических битв появлюсь, как павлин, в клетчатом пальтишке. Пусть это делают пижоны! Я, Лялечка, только погоны снял, но морально еще не демобилизовался и вряд ли когда демобилизуюсь. Запомни, пожалуйста.

Уехал Николай Иванович, понятно, в шинели. Он был упрямый человек и одержим фантазиями. Во всяком случае, он так сам о себе говорил. Но на заводе о нем судили несколько иначе. Никому и в голову не приходило думать, что, возвратясь с войны в институт, Евстратов закончил его с похвалами и отличиями лишь благодаря своему упрямству. А что касается фантазий, то о них, вручая технологу литейного цеха очередную премию, яснее всех сказал директор завода: «Ваши, как вы называете, фантазии, дорогой Николай Иванович, дали нам за год полтора миллиона экономии. Продолжайте фантазировать, прошу вас!»

Но фантазия фантазии рознь. Явно неудачно сфантазировал Николай Иванович с этой старенькой шинелькой.

Все шло хорошо в плацкартном вагоне почтового поезда. Там Николай Иванович даже посмеивался над Кононовым, который оделся в толстое пальто с барашковым воротником. Нормально обстояли дела и в колхозе, где председатель вслух размышлял, давать или не давать подводу для поездки в глухие заболотные места.

— Одна сторона: дороги туда никудышные, — басил он, задумчиво разглядывая шинель Евстратова, на которой остались неспоротыми артиллерийские петлицы. — Такие никудышные, что и не ездим мы никогда в заболотье: коней жалеем. Да сказать прямо, и ездить туда нужды нет. За клюквой, что ли? Или на медведя? А другая сторона: святое дело вы затеали. Как не помочь? Езжайте, что ж! — Председатель вздохнул и, окликнув кого-то из ребятишек, возившихся возле пруда, послал за дедом Павлом.

Председатель сказал правду. Езда по осенней лесной дороге была медленной и нудной. Телега вязла в жидкой черной грязи, седокам и вознице деду Павлу часто приходилось слезать в эту грязь, упираться плечами в задок телеги, тащить за оглобли — помогать круглобкой рыжей лошадке с постриженной в щетку светлой гривой. И пока так возились, Николаю Ивановичу было не то что тепло, даже жарко. Но когда снова забирались в телегу и плыли в ней, как на плоту, по нескончаемым грязям, технолог зяб, ежился и, хотя вспоминал мудрые Лялины советы, все же внутренне не сдавался. Он уверил себя в том, что разве не полезно горожанину время от времени окунаться в суровые условия природы и устраивать себе проверку, не изнежился ли он, обитая в трех комнатах с паровым отоплением, позабыв о стокилометровых переходах, о бивачных кострах и каше, которая примерзает к ложке? Жаль, не выскажешь всего этого Кононову. Не поймет. Вернее, не захочет понимать. А надо бы понять, что не в Сочи и не в Ялте должен горожанин проводить свой отпуск, а где-нибудь в сибирских или в северных дебрях, в палатке, в шалаше: гриппом болеть будет меньше.

Словом, Николай Иванович бодрил себя подобными размышлениями до самой ночи, до тех пор, пока наконец подвода не свернула с дороги в сосновый бор, где и решено было устроить привал. Выпрягли лошадку, развели костер, закусили. Предусмотрительный дед Павел вытащил из-под сена со дна телеги тулуп, закутался в него, лег возле костра на еловые лапки. Подняв воротник теплого пальто, завязав под подбородком шапку, привалился к деду и Кононов. Шинелька Николая Ивановича стала себя оказывать. На землю в ней не ляжешь: все-таки отпуск технолог литейного цеха провел в Сочи, а не в сибирском шалаше.

Он забрался в телегу, стал зарываться в сено, тискаясь между бортом и грузным багажом — кубическим ящиком из полуторадной-моных досок, испещренных черными железнодорожными надписями, — который занял всю середину телеги. Зарывался, зарывался, доскреб до дощатого дна, а теплей не стало. Видимо, хватил мороз. Сено леденело, покрывалось инеем, коснись его лицом — обжигает. Но это бы еще ничего. Главное — ноги. Холод ввинчивался в колени железными буравами, от колен шел волна за волной к спине, к бокам, проникал под лопатки и там оставался, плотный, беспощадный.

Николай Иванович почувствовал, что дело идет к воспалению легких, и вылез из телеги; ноги одеревенели, едва гнулись. Подбросил сучьев в костер, присел на корточках возле него, подставляя огню спину, бока, грудь, и, когда поворачивался грудью, видел своих спутников. Кононов с дедом, спина к спине, крепко спали.

Лошадка тоже спала. Освещенная огнем, ее морда с отвисшей губой то низко склонялась к охалке брошенного под ноги сена, то рывком, с железным звяком мундштука подымалась, чтобы снова начать клониться к сену. Николай Иванович, уже немного отогревшийся жаром костра, глядя на лошадь, вспомнил ездового Мотю Сахарова. Мотя Сахаров, крестьянский синеглазый паренек, прибывшийся к полку в самом начале войны, обладал способностью каждому предмету, каждому явлению давать свое собственное название, такое образное и меткое, что оно сразу подхватывалось в батареях. Майские жуки были у Моти ночными бомбардировщиками, разбитые сапоги — пылесосами, сигнальные ракеты — всеобщим заглядением. И разве это не точно? Бывало, весенней порой тянутся дивизионы через заведеревшие березовые рощи, майские жуки густо гудят в теплом воздухе над дорогой, бьются в щиты орудий, в каски бойцов, в потные лбы, тяжело падают наземь. Чем не бомбежка. Всасывающие свойства рваных сапог тоже ни у кого не вызывали сомнения. Развертывает боец на привале портянку, и — матушки мои! — вся дорожная пыль — от Ядрицы до Треплева — собралась в складках влажной холстины. Чертыхнется, идет искать батарейного сапожника. А ракеты? Не было на фронте человека, который бы не проследил взглядом полет сигнальных ракет. Поистине всеобщее заглядение.

Но особенно нравилось артиллеристам название, какое Мотя Сахаров дал вот такому полусонному состоянию лошадей. «Журналички почитывают», — говорил он о клюющих мордами конях. Даже капитан Сорокин, обычно избегавший всяких вольностей в командирском языке, являясь к коновязям в такое время, когда лошади, не дай боже, дремали возле пустых кормушек, задавал ездовым строгий вопрос: «У вас тут что, конюшня или читальня?»

Николай Иванович вспомнил Мотю Сахарова, капитана Сорокина, и невесть как возникла перед ним его бабушка Шура. Сидела за прибранным после ужина столом, близко придвинув лампу, через две пары очков рассматривала юмористический журнал. Тихо в комнате, только тикают старинные ходики, да шелестят изредка журнальные страницы. Отец повел состав с углем на Москву, пустует место под вешалкой, где обычно, когда отец дома, стоит прокопченный паровозным дымом сундучок с висячим замком. Мать ушла к соседям. Он, пионер Коля Евстратов, лежит в своей постели, одним глазом следит из-под одеяла за бабушкой. Бабушка то шепчет что-то про Чемберлена, то перестает шептать, и тогда голова ее клонится к столу до тех пор, пока не коснется журнала, потом опять подымет голову, поправит

очки и снова шепчет про Чемберлена. Чемберлен, пионер Коля знает, — это такой лорд с твердым лбом, над которым торчит высокий цилиндр. В глазу у лорда монокль, а зубы лошадиные. Он скалитесь на русских. Чего лорд хочет, Коля еще не совсем уяснил, но он уже отлично понимает, что Чемберлену надо отвечать самолетом, у которого на месте мотора здоровенный крепкий кулак. Плакат с таким самолетом Коля целый час разглядывал на заборе возле школы и вчера, вытряхнув из копилки все свои сбережения, отнес их вожакой отряда Вале Зеленцовой, которая и записала в тетрадку: «Евстратов. 4 р. 20 к. На эскадрилью «Наш ответ Чемберлену».

Бабушка перевернула страницу, и там вдруг оказался нарисованным сам этот Чемберлен. Он щелкнул зубами, стал совсем похожим на старую лошадь и оглушительно заржал...

Коля, наверно, упал бы с кровати от страха и неожиданности. Но он уже был не пионер Коля, а Николай Иванович, инженер-технолог, и кровати тут не было, с которой бы падать, а лежал он на земле возле угасающего лесного костра.

— Что там случилось? — бормотнул спросонок Кононов, плотнее кутаясь в пальто.

— Зорю чует. — С земли поднялся дед Павел, пошевелил сено под заиндевевшей мордой лошади. — Эк, вывездило! Денек погожий будет. — Дед прошелся вокруг костра, в который Николай Иванович уже снова подкладывал сучья; земля под его ногами морозно хрустела. — И дорога вроде взялась, — добавил. — Езда легче.

Николай Иванович был удивлен. В телеге, в сене, мерз, уснуть не мог, а тут на голой земле до того разоспался, что лишь лошадиное ржание смогло его разбудить. Холода он не чувствовал, было бодро и легко, голова ясная, и снова хотелось сказать Кононову, что с крымскими берегами, с шезлонгами, со всяческими циркулярными и веерными душами нужно кончать, человек должен отдыхать и закаляться на лоне суровой природы, в борьбе и в содружестве с ней. Но снова не сказал, предложил не терять времени, ехать дальше.

— Правильно, — кратко согласился Кононов.

Алексей Кононов, или просто Алеша, как его звали в третьем механическом, был человек малословный, деловитый и медлительный. Настолько медлительный, что однажды начальник главка, полдня наблюдавший за его работой на четырех токарных станках, сказал директору завода:

— Поразительно! Как могут в человеке уживаться такие противоречивые качества? Ходит и движется — медведь медведем, а вот, возьмите, выдающийся скоростник! Восемь норм за смену — это же рекорд на подобных изделиях!

— Рекорд — да, но что медведь, прошу прощения, не замечал, — возразил директор. — Суеты нет, правда. Зато каждое движение как рассчитано! Ничего лишнего.

Директор высказал то, что думал о Кононове и Николай Иванович. Николай Иванович был знаком с Алешей давно, с первых дней войны, когда их обоих — молодого токаря, только что закончившего ФЗУ, и студента-второкурсника — назначили в один орудейный расчет артиллерийского полка ополченческой дивизии. И на учебных тренировках и в бою Николай Иванович постоянно замечал, что, как ни суетись, как ни вгоняй себя в пот, все равно быстрее и лучше, чем Кононов, дела не сделаешь. Получалось это, видимо, потому, что Алеша действительно был наделен каким-то особым даром нигде и никогда не совершать ни одного лишнего движения и не говорить ни одного лишнего слова. Поэтому-то, между прочим, Николай Иванович ни вчера, ни сегодня не решался заводить с ним пустопорожнего, в сущности, разговора о южных курортах. Совершенно ясно, что Алеша даже и полсловом не ответит на не относящиеся к делу высказывания. Алеша — человек дела. Да вот, пожалуйста: он, Николай Иванович, только-только предложил собираться в дорогу, а Кононов уже затоптал костер, сгреб в телегу остатки сена с земли, принес для лошади ведро воды из придорожной канавы. Как успел все это сделать человек, когда, казалось, он еще и с места не тронулся? Нет, недаром в боях против танков, во всех случаях требовавший предельного, сумасшедшего темпа огня, капитан Сорокин приказывал командиру расчета поменять местами Евстратова с Кононовым. «У нашего Алеша и студенту не будет времени мух ртом ловить,— говаривал командир батареи.— Как, студент, не обижаешься?»

Студент, конечно, обижался, но перемену мест возле орудия в душе считал хоть и жестокой, а все же необходимой мерой. Исход боя зависел от темпа огня; более высокого темпа, чем Кононов, дать в расчете никто не мог, тем более он, Евстратов, внимание которого постоянно чем-нибудь отвлекалось.

— Едем или не едем? — вдруг воскликнул он, когда все сборы к отъезду были завершены.

— А что не ехать! Едем.— Дед Павел взобрался на передок телеги.— Седайте, ребята.

Телега вновь выбралась на дорогу, но уже не вязла в колеях, как вчера. Дорожная грязь за ночь окаменела, колеса стучали по ней, словно по булыжнику. Лошадка весело цокала копытами.

Дорога была неезженная, забытая. Над ней тесно сплелись ветки ольх и рябин, повисших так низко, что дуга задевала за них и на лошадиную спину летел игольчатый иней, медленно, как театральный снег. Дед Павел, протягивая руку то вверх, то в сторону, на ходу срывал морозные рябиновые кисти, как-то лихо, по-ребячьи закидывал себе в рот крупные ягоды и не без тревоги озирался по сторонам.

Когда взошло и пригрело землю осеннее солнце, на дорогу, на холку лошади, в телегу, на головы, на плечи людей повалил желтый, убитый ночным заморозком ольховый лист.

— Ну и места! — отмахивался от листьев дед Павел. — Сроду в дebre такой не бывал. Неужто, ребята, вам тут хаживать довелось?

— Не по этой самой дороге, а довелось, — бодро ответил Николай Иванович, болтая ногами, опущенными через борт телеги. — Где, спрашивается, нам не довелось хаживать с Алексеем Алексеевичем? Пол-Европы выходили. Верно, Алеша?

Кононов, конечно, промолчал: что говорить? Николай Иванович и так все сказал.

Телега въехала в ручей. Лошадь давила копытами звонкий ледок, под которым по мелкому руслу, устланному прелыми листьями, бежала темная лесная вода.

— Гляжу на вас, — обернулся к своим седам старик, когда ручей остался позади, — что родные братья. Да и как иначе! Три года-то с лихвой бок о бок, из одного котелка да одной ложкой... Мы, к примеру, приехали тоже вроде к чужим людям, под Казань. А до того потом приобвыкли: как собираться в родные места, без слез не обошлось. У вас, надо быть, еще крепче было.

— Верно, папаша. — Николай Иванович закурил папиросу. — Надо бы крепче, да некуда.

Лирическое настроение нисходило на путников от разворошенных воспоминаний. Старик вздохнул. Кто знает, не вспомнил ли он лысого деда Алина, с которым там, под Казанью, закинул за плечи дробовички, обхаживали они по ночам поля над Волгой.

— Вот разошлись, разъехались... — Он снова вздохнул, обращая этот вздох, по-видимому, к лошаденке.

Но Николай Иванович услышал, ответил:

— Разъехались, да не расстались.

Что он хотел сказать этим? Вряд ли только себя с Кононовым имел в виду технолог Евстратов: работают, дескать, двое бывших бойцов-однополчан, хоть и в разных цехах, на одном заводе. Да и разве непременно под одной крышей надо жить и работать фронтным товарищам, чтобы никогда не забывать друг друга, не терять связи и той огнем, боем, кровью скрепленной на войне дружбы, которая на всю жизнь останется в сердцах людей, как бы ни были различны их характеры, профессии, интересы и устремления? Ничего не скажешь: редко, может быть, реже, чем следовало, встречаются они, Евстратов и Кононов. Где-нибудь на заводском митинге увидятся, или на первомайской демонстрации встанут рядом в общую колонну, или в трамвае пожмут руки: «Как дела, Алеша?» «Помаленьку, Николай Иванович». И все как будто бы. Но вот пришла пора, по-настоящему встретились, общее дело затеяли, и капитан Сорокин — откуда только взялся он! — принял участие в этом деле, и Мотя Сахаров обнаружился, и Петя Кудрявцев — ящичный — из-под Пскова откликнулся, с льнозавода, и даже полковник Федоров специально приехал из Прибалтики, чтобы взять на себя наиболее сложную задачу — договориться с директором фарфорового завода.

Вот о чем охотно рассказал бы Николай Иванович деду Павлу, не будь тут рядом Кононова, который своим осуждающим всякий длинный разговор молчанием сковывает язык. Да и потом, Алеша Кононов потребует, чтобы рассказ был абсолютно точным. А это разве рассказ, если немножко его не приукрасить? Кому нужен голый протокол?

Николай Иванович по примеру деда Павла вздохнул, а дед Павел снова сказал:

— Незнакомые места, глухие. Один вовек не поехал бы сюда. Заплутаешь. Далеко ли еще?

— Думается, близко. Алеша, а не там ли стояла наша батарея перед прорывом? Ну-ка взгляни! — Николай Иванович указал рукой за облетевшие ольхи, где среди похожих на частокол сосен с обломанными вершинами далеко лежала плоская высотка. — Если это она, то до шоссе часа три езды. А там и до перекрестка рукой подать. Скоро, значит, папаша. — Технолог придвинулся к деду Павлу. — Ну и дубище же ты увидишь! Втроем обхватывали. Еще спор у нас был, сколько лет такому дереву. Стоим — вот-вот немецкие танки выскочат на шоссе, где-то наши рядышком бомбят, противник садит из тяжелых, земля под нами, что пружинный матрац, зыбится, а спорим. Поверишь?

— Как же! — понимающе мотнул головой дед Павел. — Бывало, он, герман-то, шрапнелью по окопу дает, а мы, смешно вспомнить, в картишки, в очко, режемся. Это, ребята, известно: перед боем всегда отвлеченность требуется.

— Да мы не для отвлеченности спорили. Просто интересно было. Он, — Николай Иванович коснулся рукой тяжелого ящика с надписью: «Не кантовать. Верх», — Егор Васильевич наш, уверял, что дубу лет двести.

— Двести? Эка штука! — изумился дед Павел. — Вот людям бы так стоять...

— Крепче стояли.

Эта фраза была явно из красивых, вырвалась она у Николая Ивановича помимо его воли, и он тотчас искося взглянул на Кононова: как Алеша реагирует?

Алеша внимательно разглядывал окрестности. Высотка, указанная Николаем Ивановичем, в самом деле очень походила на ту, за которой стояла когда-то их батарея. Но беда в том, что позади этой высоты виднелась точно такая же, а дальше и левей — еще две, и так, куда ни глянь, по всему горизонту над лесами подымались плоские, неотличимые одна от другой однообразные высотки, окруженные частоколом поломанных сосновых стволов.

— На карту бы взглянуть, — предложил Кононов.

— На карту? Можно.

Из внутреннего кармана шинели Николай Иванович извлек

бережно сложенную старую карту, которую ему перед отъездом принес капитан Сорокин. Зеленым квадратом ее разложили на коленях, стали рассматривать разноцветные карандашные значки, которыми был отмечен район прорыва. Разглядывали долго, и чем дольше разглядывали, тем меньше понимали, где же они находятся. Ни этой дороги на карте не было, ни высоток, ни шоссе, к которому держали путь.

— Чертовщина! — сказал Николай Иванович.

— Никакой чертовщины, — ответил Кононов. — Не тот лист. — И уткнул палец в самый срез карты, где лепились черные кубики.

— Голубково! — прочел технолог.

— Голубково? Наше село! — Дед Павел заерзал. — А ну, какое оно на плану?

Николай Иванович сунул ему измятую карту, мрачно застыл на своем месте, и, пока ничего еще не подозревавший дед отыскивал какую-то теткидашину клуню и Васькин огород, кляя себя последними словами. В случившемся был виноват только один он, Николай Иванович. Теперь уже не клетчатое пальто, а шинель казалась ему признаком пижонства. Истинный человек в шинели такой бы глупости не совершил. Карта, видите ли, показалась ему слишком большой, решил разрезать ее надвое и ненужную половину оставить дома. Оставил, конечно, нужную.

— И дорога, наверно, не та, — бормотал он уныло. — И черт-те куда, сам бог не ведает, едем...

Не только люди, казалось, даже и лошадка приуныла. Устало брела она по неведомой дороге неведомо куда, но ее никто не останавливал.

Ни Евстратову с Коновым, ни деду Павлу не хотелось впустую тащиться обратно восемьдесят трудных километров. По молчаливому уговору они ехали все-таки вперед: выведет же куда-нибудь эта усыпанная листьями дорога, не растворится же она в медвежьем буреломе! А что, если растворится? И такие дороги в лесах бывают.

Ехали молча. Молчали даже тогда, когда устраивали привал, чтобы покормить лошадь. Только под вечер выбрались из леса, но совсем не у шоссе, к которому стремились, а возле железнодорожного полотна, припудренного по склону известью. Семафор, подняв длинную руку, открывал путь товарному составу, который по изогнутому дугой пути заворачивал к заводским корпусам из серого крупного кирпича. Над корпусами висели в воздухе фермы металлических перекрытий.

Сбились, окончательно сбились. Это было ясно, и оставалось теперь одно: ехать на завод и просить ночлега.

Перебрались через насыпь, лошадь мордой уткнулась в двустворчатые новые ворота. Николай Иванович повел дипломатический

разговор со сторожем в таком же, как у деда Павла, черном тулупе. Сторож допытывался, зачем да к кому, по какому делу, подозрительно хмыкал. Завод, видимо, только строился, бюро пропусков тут еще не было, и бдительный страж в тулупе единовластвовал у ворот. Он мог продержаться подводу на дороге неизвестно сколько, но, на счастье, в хвост подводе вскоре подошла грузовая трехтонная машина и стала резко сигналить.

Из ее кабинки выпрыгнул человек в шинели, более новой, более аккуратной, чем у Николая Ивановича, а все же, несомненно, фронтальной, потому что на плечах ее были видны следы ниток от погон.

Николай Иванович обрадовался, и не зря: человек в шинели оказался секретарем партийного комитета завода.

— Устроитесь с ночлегом, у нас тут гостиничка есть примитивная, прошу тогда ко мне, потолкуем подробнее, — сказал он и распорядился, чтобы сторож распахнул ворота.

Подвода въехала на территорию стройки. Мягко по сырым бревнам стучали вокруг топоры плотников. Под дощатым навесом светились малиновым светом топка локомотива. Паровой кран, двигаясь по рельсам, нес связку бревен, легко, как пучок соломы.

Час спустя, когда лошадка была распряжена и поставлена в конюшню, когда над заводскими дворами зажглись прожекторы на бревенчатых мачтах, все трое: и Николай Иванович, и Кононов, и дед Павел, не пожелавший отставать от своих дорожных товарищей, — вместе с секретарем партийного комитета Лаврентьевым шагали от цеха к цеху. Николай Иванович, попав на стройку громадного комбината, где по-новому решалась организация производства строительных материалов, позабыл даже на время о цели своей поездки. Он толковал и спорил с Лаврентьевым как инженер с инженером. Но Кононов ходил позади них только для компании и только для того, чтобы не завалиться раньше времени на койку в гостинице. Рано ложиться, по его мнению, было так же плохо, как поздно вставать.

Лаврентьев, спохватившись, что занимает лишь одного Евстратова, а другой приезжий, видимо, сильно расстроен и угрюмо молчит, прервал разговор.

— Не знаю, товарищ Кононов, — сказал он, — тот ли или не тот, но дуб здоровенный здесь был. Хотите, посмотрим?

— Куда идти? — вместо ответа спросил Кононов.

Перед самым входом в будущий цех изоляционных плит стоял могучий пнище. Вот когда можно было с точностью до года определить возраст дуба, о чем перед боем, в котором погиб наводчик Егор Васильевич Носов, вел спор весь расчет третьего орудия. Но не об этом думали теперь бывшие артиллеристы, ступив на землю, которая впитала кровь их друга. Они уже не сомневались, что не ошиблись дорогой, что пень этот — тот самый, который им нужен; второго

двухвекового дуба в здешних болотистых местах не сыщешь. Они в молчании стояли возле пня.

Дед Павел даже шапку снял, обнажив седую голову. Потом Кононов что-то прикинул, сверился с Полярной звездой, установил, где север, где юг.

— Вот, Николай Иванович, — рассекал он воздух ребром ладони, — так стояла пушка. Вот здесь находился ты и подавал мне. А тут, значит, был Егор Васильевич. Вон оттуда, где трансформаторная будка, выскочил головной...

Пошли по направлению огня пушки, которую наводил Егор Носов. Обогнули корпус цеха и среди конусных куч рыжей гари, выброшенной топкой локомотива, нашли черные обломки: распластанные траки гусениц, тяжелые ленивцы, ключья брони, машинные части.

— Летом порезали вашего «тигра» автогенном, — сказал Лаврентьев. — В переплавку пустили. А за болотцем и второй был...

— Все точно! — окончательно уверился Кононов. — Так и есть: могила Егора — перед самым входом в цех!

Загудел гудок локомотива, сзывая на стройку ночную смену. Люди потоком вливались в широкие ворота, и Кононов, рассудительный человек, не фантазер и не мечтатель, такими глазами глядел на незнакомых людей, словно искал среди них своего боевого друга. Он даже и о той глыбе из полированного красного гранита позабыл, которую семьсот километров везли они в кубическом ящике, о тех пушках, которые он сам, собственноручно выточил из самой лучшей, жаркой, как золото, латуни, о том портрете на фарфоре, который заказал для памятника Носову полковник Федоров.

Он наглухо застегнул шинель, стоял не шевелясь. Ему казалось, что он в строю и справа ощущает плечом плечо Егора.

Егор Васильевич в строю всегда стоял от него справа.

## ГРОМ В АПРЕЛЕ

Командир батареи полковых пушек, еще не снявший зимнего ватника пожилой лейтенант, объяснил Гудкову, как настроить по глазам окуляры, отступил за его спину и, потеснив там ефрейтора-телефониста, сел на сырое кирпичное крошево.

С полуразбитой колокольни пулковской церкви, на которой был оборудован НП артиллеристов, в ярком апрельском дне просматривалось все чуть ли не до Гатчины и Красного Села, а сильные стекла стереоскопической трубы придвигали дымную солнечную даль настолько, что, думалось, шагни — и ты там, на холмистых полях, за линией врезанных в грязный снег и в морозный торф наших и немецких траншей, блиндажей, зигзагообразных ходов и землянок.

Гудков узнавал повороты и перекрестки знакомых дорог. Проеденные до асфальта проталинами, над которыми теплой зыбью ходил полуденный воздух, дороги казались прочерченными пунктиром. Снег сошел с косогоров, и по ним с одного на другой черными тучами, не спеша, перемещались грачи и вороны; с южным ветром оттуда летели тяжелые, душные запахи, от которых поташнивало. Мертвые деревни над дорогами, выставив ребра стропил, смотрели вокруг пустыми глазницами выбитых окон. В немецких траншеях точно и позабыли об осторожности, о маскировке — там встревоженная суета. Солдаты бегали с досками, тащили на плечах бревна — остатки деревень и селений, серыми цепочками выстраивались у входов в землянки и блиндажи и передавали один другому ведра. Их укрытия, не очень-то рассчитанные с осени на столь долгую жизнь, захлестывала весенняя вода, весело льющаяся с холмов и косогоров. С нашей стороны, распугивая измокших фашистов, время от времени щелкали выстрелы снайперов; со стороны немцев по снайперским позициям ответно били минометы.

Гудков повел трубой влево... Изрубленный снарядами вокзал станции Александровская. Дорога в Пушкин под кронами старых лип. Колочая проволока от ствола к стволу, и на ней рыжие лохмотья мятого железа — маскировка, за которой неслышно скользили конные подводы... Над темными кущами парков — башня Охотничьего замка, за нею — купол дворцовой церкви, точнее, скелет купола; позолоченные листья сорваны.

Как бы хотелось проникнуть взглядом сквозь это сплетение голых деревьев, ветвей, сучьев туда, на бульвар Киквидзе, где возле длинных кирпичных казарм стоял когда-то одноэтажный деревянный домик, в котором сорок лет назад родился Сергей Иванович Гудков, ныне секретарь райкома партии одного из индустриальных районов Ленинграда! Цел ли домик, жив ли, существует?

— Спасибо, товарищ лейтенант! — сказал он, пожимая руку артиллеристу. — С помощью вашей техники побывал в родных местах.

— А мои родные места — Новгородчина, — заговорил лейтенант, спускаясь вслед за ним по кое-как сколоченной лестнице с колокольни. — Уж когда придется там побывать... И придется ли?

— Ну, что вы какой пессимист! Если не верить в победу, зачем тогда и жить?

— В победе никто и не сомневается... — Лейтенант спрыгнул на землю возле Гудкова. Прислушался к визгу мины. Но было поздно искать укрытия. Жарко рванул близкий разрыв, швырнувший и секретаря райкома и командира батареи в битые грязные кирпичи к фундаменту церкви. За первым разрывом ударил второй, подальше.

— Пожалуй, что и все, — сказал лейтенант, подымаясь с земли и отряхиваясь. — Вас не задело? Дайте спину почищу. — Он поскреб щепочкой пальто Гудкова. — В ушах звенит. Это они на всякий случай. Беспокоящий огонь. Так я что говорю? Сомнений в победе ни у кого и нет. А доживешь ли до нее, вот вопрос!

Лейтенант поднял из-под ног скрученный, в цепких шипах и в трещинах, искрящийся осколок, перебросил с ладони на ладонь, подал Гудкову. Осколок еще жегся, и Гудков тоже покидал его на ладонях.

Потом они сидели в землянке командира дивизиона, слушали патефон — по случаю воскресенья, как сказал хозяин землянки, и ели колбасу с хреном.

— Я очень хорошо помню, — утверждал веселый капитан, — на баночках печатали до войны: двадцать граммов хрена равны для человека суточной норме витамина С.

— Тогда я, кажется, уже того... перебрал. — Гудков отложил вилку. — Но невозможно оторваться. Чудесный продукт! Почему мы, когда можно было, не ели его ложками? Где вы это раздобыли?

— А здесь, на огородах. От села-то знаменитого, от Пулкова, почти ничего не осталось. Своими глазами можете видеть: голое место. А хрен растет. Уже кое-где листочки на припек проклевываются. Наш повар копает и скоблит ножом за отсутствием терки. Вот... — Капитан нагнулся, достал из-под нар два толстых ветвистых корня. — Если не обидитесь на такой подарок, рад буду презентовать. Савельев, — сказал он кому-то, — запакуй, друг, десяток корешков да снеси в машину товарища секретаря райкома.

Вместе с капитаном долго стояли возле землянки среди огородных гряд, на которых и в самом деле в теплых проталинах меж пластов грязного рыхлого снега, высверливаясь из земли, лезли зелено-красные буравчики первых побегов хрена.

Землянка была врезана в склон холма неподалеку от дороги. Дорога вела в Ленинград, широкая и ровная. Гудков указывал в ее направлении, вода рукой:

— Вот он, наш район. За железнодорожной линией уже и граница с пригородным. Там завод электромашин... А вот обувная фабрика... Левее — вагоностроительный...

— Трубы-то, трубы!.. Не дымят. Воздух над городом, что в деревне.— Капитан сказал это не без горечи.— Небо голубенькое. Чистый ситчик!

— Задымят, скоро все задымят,— ответил Гудков, всматриваясь в это небо, под которым четким силуэтом обозначался огромный притихший город.— Уже вон дымят.— На Выборгской стороне, за Нарвской и Невской заставами по-мирному выбрасывали в воздух копоть своих кочегарок еще в феврале и в марте стряхнувшие ледяной сон заводы и фабрики.

На обратном пути, трясясь в «эмке» по выщербленному асфальту, Гудков все время видел перед собой это дыхание Ленинграда и мысленно подсчитывал ожившие трубы: одна, две... восемь... тринадцать... Маловато еще, маловато! Вновь переживал позавчерашний разговор в Смольном, в городском комитете партии, о том, что надо энергичнее налаживать жизнь района, пускать все, какие только можно, предприятия, исправлять поврежденный водопровод, давать электрический ток в дома... Жить надо, жить. Кончилась страшная, голодная и холодная зима, с мертвецами в цехах, с мертвецами в квартирах, с мертвецами на саночках и просто на тротуарах, на метр покрытых снегом и льдом. Мертвых на улицах уже давно нет, зато живых сколько!..

Сыпались осколки льда из-под ломов и кирок, летели брызгами, рождая радуги на мостовых; истощенные люди двигались медленно, экономя силы, движения их были скупы, но из глаз уже уходили и голое зимнее равнодушие — глаза вновь смотрели не назад, а в будущее. Прокопченные дымом печурок ватники, перепоясанные веревками вытершиеся пальто, меховые жилеты, клетчатые пледы, повязанные со спины на грудь; валенки, кирзовые сапоги, боты, фетровые и резиновые; шапки с ушами, шапочки шерстяные, пестрые платки, шляпы с лентами и шляпы с цветочками — все было почищено, заштопано, залатано к этому первому выходу населения на весенние улицы для расчистки трамвайных путей. Гудков отослал вперед машину, ходил среди работавших, скользя на ворохах слоатого льда, расспрашивал бригадиров, как чувствуют себя люди, достаточно ли в бригадах лопат, ломов, носилок.

Увидел директора одного завода — Федосенко. Обрадовался. Много лет дружили они с Федосенко, еще с комсомольских времен. Случилась в ту пору история, особенно сроднившая Сергея Гудкова и Степана Федосенко. Лет двадцать назад, если не больше, комсомольская ячейка механического цеха, не совсем разобравшись в причинах поломки станка, на котором работал молодой строгальщик Гудков, чуть было в спешке не исключила его из комсомола. Все были за исключение, дружно подняли руки. «Единогласно, значит», — подвел итог секретарь ячейки. «Нет, не единогласно. Я против!» — послышался голос. Оглянулись: Степан Федосенко. Тут же хотели исключить и его «за противопоставление себя коллективу». Но кто-то из членов партии, присутствовавших на собрании, вовремя остановил разгорячившихся ребят. Потом, когда разобрались в деле как следует, выяснилось, что никакой вины за Гудковым и не было. Федосенко хвалили: молодец, принципиальный парень! Гудков его дружеской помощью забыть никогда не мог.

— Степан! — окликнул он старого друга. — Ну, как оно?

— Красота! — ответил Федосенко.

Оба поняли друг друга. Стояли посреди проспекта, щурились от солнца, плескавшегося в лужицах на льду, радовались жизни.

— А что? — Федосенко кивнул в сторону большого, когда-то красивого, здания, в котором до обстрелов и бомбежек размещались райсовет и райком партии. — Скоро и в свой кабинет вернешься.

Окна кабинета Гудкова под самой крышей, на верхнем этаже, как, впрочем, и все остальные окна во всех этажах, были заделаны фанерой и досками; над ними свисали длинные сосульки, с которых буйно текло на ступени главного входа.

— Зайдем, посмотрим? — предложил Гудков.

Они нашли сторожа. Гудков показал свое удостоверение. Сторож провел их через какой-то запасной, пожарный ход внутрь здания, в вестибюль.

— А тут уж мы сами. Спасибо. — Гудков почти бегом поднимался по лестнице на свой райкомовский этаж. Ступени и здесь оплыли грязным, будто проржавевшим, льдом. Текла, видимо, крыша, пробитая осколками. В коридорах стояла сырая стужа подземелий: солнце не могло пробиться сквозь фанеру окон, дневной свет едва проникал в щели между досками.

В кабинете Гудкова приналегли вдвоем, распахнули окно, обе рамы: и внутреннюю и наружную. Солнце шагнуло через подоконник на паркет, засыпанный кусками штукатурки, пришлось по заиндевевшим стенам, легло на ставшее серым от пыли и тоже заваленное штукатуркой сукно большого секретарского стола.

Кроме этого стола, нескольких стульев и огромной карты Советского Союза, ничего в кабинете больше не было. Карта еще хранила на себе покосившиеся красные флажки на булавах,

которыми до октября Гудков отмечал линию фронта. Вокруг Ленинграда флажки стояли тесно, у самых окраин; вскоре после того, как они здесь сдвинулись, райком переселился в бомбоубежище под одним из соседних зданий. Унесли туда и мебель из кабинета, кроме стола, которому тесно было бы под землей, и все привычные для Гудкова мелочи.

Четыре года провел в этой большой комнате Гудков. Чего только тут не было, чьи только судьбы не прошли через кабинет секретаря райкома, какие только не решались в нем вопросы!.. Вот здесь, возле двери, обнялись в последний раз с братом Шуркой... Шурка погиб еще в августе. Студент-ополченец. Да разве один Шурка ушел отсюда на фронт?! И многие из них уже никогда сюда не вернутся.

— Нет, не скоро, — с большим запозданием ответил Гудков на слова Федосенко. — Умершие здания оживлять трудно. И трубы, должно быть, все перелопались, и электропроводка сгнила, и крышу чинить надо.

Затворили окно, обе рамы — и наружную и внутреннюю, затворили дверь кабинета; миновав длинный коридор, добрались до зала заседаний.

Странно, но зал пострадал совсем немного. Если вставить стекла, протопить помещение да стереть пыль...

— Может быть, даже и топить не надо, — сказал Федосенко. — Только стекла вставить. Солнце само нагреет. Всегда, если днем заседали, приходилось шторы опускать. Забыл, что ли?

— Ведь пустяк дело, — в раздумье сказал Гудков. — А как замечательно было бы провести там пленум с активом! Представь себе, Гитлер воображает, что мы тут все передохли, а кто жив остался, тот, дескать, от земли носа поднять не может, в щелях сидит, ждет смерти, и вдруг бы в нашем зале — пленум с активом! Задачи района. Подводим итоги. Планы на будущее. Живем, работаем, боремся! Не только не собираемся сдаваться, а силы готовим для удара, для наступления, для победы. — Гудков даже привстал. — Хлеба прибавили. Дорога жизни через Ладогу действует, разные другие продукты везут. Это — громадное дело! Но моральный фактор! Он не меньше весит, чем хлеб. В ноябре, в декабре почти совсем не было хлеба. А держались, стояли — выстояли. На моральном факторе. Это фактор величайший из величайших, Степан. Он утраивает силы людей, увеличивает мощь их оружия.

— А что ты меня агитируешь?

— Это я себе говорю. Пленум бы райкома... В нашем зале. Дух бы как у актива поднялся!

— Нельзя, Сережа, нельзя, — ответил Федосенко. — Разнюхают немцы да и накроют тяжелой артиллерией зал заседаний. Вот тебе и пленум. Вот тебе и актив.

— Да я это понимаю, понимаю. Но все-таки.

В районе Урицка и Стрельны — любой ленинградец безошибочно определял эти направления — словно один за другим хлопнули два раза в ладоши. Завыли снаряды дальнобойных орудий. Еще хлопнули в ладоши — снова вой, и еще два разрыва...

— Заметили людей на улицах,— сказал Гудков.— По проспекту бьют.

...Гудков сидел перед секретарем обкома, членом Военного совета фронта.

— Придумал ты хорошо,— говорил секретарь обкома, рассматривая осунувшееся, усталое лицо Гудкова, на котором по-прежнему молодыми и беспокойными были только глаза.— Это людей подымет знаешь как? Но вот чем тебе помочь, чем помочь? И стекла, говоришь, уже вставили?

— Вставляем. Печки-временки сложили, топим для просушки. Народ работает, ног под собой не чувствует. Один у нас, столяр-краснодеревщик, уж и с постели не вставал, к смерти готовился. Сказали, мебель подремонтировать надо: где отсырела, где потрескалась,— поднялся, пришел со своим инструментом и про смерть позабыл.

— Нашел! — Секретарь обкома ударил ладонью по столу.— Когда ты собрался проводить пленум?

— В следующий вторник. Часиков бы в двенадцать дня. Вопрос один: о восстановлении района, о нашем дальнейшем участии в обороне города, о планах. Вопрос подготовлен. Доложил бы я. Желающих выступить в прениях хоть отбавляй. Ко мне вот наша заслуженная учительница приходила, Голубева, вы ее знаете. У нее всю зиму школа работала — десятый класс. Экзамены, говорит, скоро — приглашаю районных руководителей послушать моих учеников. Хочет рассказать о школе на пленуме. Или Федосенко... У него вопрос о том, чтобы начать проектирование электрических машин новых мощностей. Окончится война — чтоб сразу пустить в производство.

— Понятно, понятно,— весело перебил секретарь обкома.— О дне, о часе договорились. Оповещай товарищей. Ты, помню, частенько критиковал обком. А зря. Вот обком тебе и поможет.— И он снял трубку телефонного аппарата, связывающего его со штабом фронта.

Штор, как до войны водилось, не опускали: их просто не было на окнах. Зал, у которого южная стена почти целиком состояла из стекла, переполняло щедрое солнце. Люди шли на пленум районного комитета партии как на праздник. Кроме членов райкома, были приглашены партийные работники с предприятий, хозяйственники, товарищи из райсовета, инженеры, представители воинских частей, расположенных на территории района.

Входя в зал, все радовались солнцу, радовались тому, что заседание будет проходить не под землей, а при свете яркого весеннего дня.

— Запела бы, честное слово, запела,— говорила окруженная людьми учительница Голубева. — Как, бывало, перед комсомольскими собраниями: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка...» Да голос пропал за эту проклятую зиму: четыре раза ангиной болела. Уроки случалось проводить при температуре за тридцать восемь. И даже тридцать девять однажды было.

— А все-таки немножко жутковато,— сказал кто-то, указывая рукой на огромные окна. — Самый юг. Оттуда ведь и лупят.

— Так ведь объясняли же всем, что меры будут приняты.

— Ну какие могут быть тут меры! Вчера на Обводном трахнуло — ловко как-то по первому этажу угодило — вся стена повалилась. А дела-то всего — один снаряд. Один-единственный.

— Ерунда! — сказала Голубева. — Наши ребята и те перестали этого бояться.

— Так я же не в смысле страха. Я не за себя...

В районе Стрельны и Урицка дважды хлопнули знакомые всем ладоши. Снаряды пошли стороной. Разрывы были далекие, едва слышны, где-то на Петроградской. Но все насторожились, подтянулись, ожидающе смотрели на Гудкова, появившегося за столом президиума. Разговоры утикли.

Немецкие пушки все яростнее ухали то на одном участке фронта, то на другом, в воздухе выло. Немецкие артиллеристы знали о весенних работах на улицах города, метили в улицы, в людей с кирками и лопатами, эти люди были для них не менее страшны, чем люди с автоматами и снайперскими винтовками.

Может быть, немцы знали о том, что на двенадцать часов в прифронтовом районе Ленинграда, в этом ничем, кроме хрупкого стекла, не защищенном зале Дома Советов, назначено заседание районного штаба большевиков? Может быть, командиры немецких орудий в Урицке и Стрельне смотрят сейчас на часы, следят за ходом минутных стрелок?

Возможно, и так. Резиденты врага в городе есть. На днях органы разведки выследили одного из них, немца-жестянщика, с тысяча девятьсот тринадцатого года по заданию германского генерального штаба лудившего и паявшего кастрюли в своей мастерской, в подъезде, под лестницей, на Васильевском острове. Он ничем не проявлял себя в первую мировую войну, он был еще тогда приготовлен для второй.

В осажденном врагом городе все возможно.

Гудков смотрит на часы, на сверкающие окна, за которыми, как и несколько дней назад, свет льется весело и неумоно; на безоблачное небо, в котором в высокой голубизне ходит самолет, неизвестно, наш или немецкий. Он представил себе колокольню пулковской церкви,

десятки других наблюдательных пунктов артиллерии вдоль линии обороны Ленинграда, аэростаты на тросах, поднятые в воздух самолеты-корректировщики...

— Товарищи! — сказал он. И голос его пропал в обвальном грохоте. Пол встряхнул людей, сидевших на стульях, в окнах выпало несколько стекол. На миг показалось, что уже все окна летят брызгами и само здание рушится.

Кое-кто не выдержал, поднялся на ноги. Но Гудков уверенно стоял за столом, побледневший и радостный.

А грохот рос. Ревело справа, слева, где-то впереди, возле Автова, на Средней Рогатке... Фронт громыхал, дрожала земля, и звенели стекла в металлических рамах.

— Товарищи! — повторил Гудков, повышая голос. — Разрешите наш очередной пленум считать открытым. Будет немного шумно, но это ничего. Этот гром в апреле — артиллерия Ленинградского фронта. Это солдаты и офицеры корпуса контрбатареинной борьбы обеспечивают наше заседание. Они бьют по батареям противника, принимая ответный удар на себя, чтобы мы с вами смогли плодотворно поработать сегодня. Вот видите, нет на свете такой силы, которая бы помешала большевикам осуществить то, что они задумали. И не будет!

Голос его дрогнул; все, не сговариваясь, поднялись с мест, и в звоне стекол, в грозových раскатах возник «Интернационал». С особым чувством люди пели о великом громе, который в эти минуты там, за линией недалекого фронта, рвал в клочья небо над сворой пришлых псов и палачей.

## ПАЦИЕНТЫ КВАСНИКОВА

Секретарь районного комитета партии, Андрей Васильевич Карабанов, почти год пробыл в Москве на курсах. Уезжал он поздней осенью, когда на бурых жнивьях было пустынно и холодно, бродили среди них озябшие галки да на капустных бороздах, запудренных первым снегом, обгладывая каменные от студеных ветров кочерыжки, трясли хвостиками бойкие непуганые зайцы.

Таким и оставался район в памяти Карабанова, пока он сидел за партой в многоэтажном здании на одной из московских площадей: окончившим полевые работы, собравшим урожай и словно по поясу закутанным на зиму в теплую шубу высоких завалинок.

Тем резче бросилась в глаза секретарю разница между схваченными морозом полями и этими, встретившими его новым урожаем, тучными скирдами озимых хлебов, стогами клеверного сена, зеленью овощей и картофеля.

Жадность увидеть все самому, самому удостовериться, так ли хозяйствовали без него, охватила Карабанова в первый же день возвращения в район и все еще не проходила, хотя с того дня минула добрая неделя. Сначала он мучил второго секретаря Заранкина, требовал от него рассказов — долгих и подробных, потом ему несли сводки. Но сводки Карабанов знал почти наизусть — ему их регулярно присылали в Москву. Не терпелось повидать живую жизнь.

И вот Андрей Васильевич четвертые сутки разъезжает по району. Прошедшую ночь он провел в Заполье, в доме секретаря колхозной парторганизации, проговорили до вторых петухов, поспать почти не удалось. С рассветом секретарь райкома приехал в приречный колхоз имени Чапаева, самый отдаленный от районного центра и от шоссе-ных дорог.

Он побывал в полях, где заканчивали жатву ячменя, беседовал с молотильщиками на току, осмотрел фермы — молочную, свиноводческую, птичью. Ему приятно было, что все встречают его как старого друга, жмут руку, спрашивают, как жилось-училось в столице, каков был харч, не заморился ли на студенческом положении.

На дальней пасеке пчелиный дед Митрич, в белом картузе и стоптанных валенках, которые он не снимал и в летнюю жару, «чтобы грубым шагом пчелок не тревожить», угостил его медом, прозрачным и желтым, как подсолнечное масло.

— От всех хворей и недугов лекарство — медок, Андрей Васильевич, — приговаривал дед, оглаживая широкую бороду. — Восьмой десяток мне, сам знаешь, а силенка — вот она!.. — Подобрал с земли подпору, какие осенью ставят в садах под ветви яблонь, Митрич переломил ее легко, точно то была не толстая ольховая жердина, а соломина. — Достигнем, — добавил, отбрасывая в крапиву обломки, — чтоб каждому на день по полфунта лекарства этого выдавать, вот тогда живи народ хоть до ста годов!

— Проблему, значит, долголетия решишь, Кузьма Дмитрич?

— А что, Андрей Васильевич, жизнь ныне такая — не то что молодому, и старому-то умирать неохота. Интерес берет, а как оно через год будет, да как через десять? Дела большие затеяны... Вон, возьми Квасникова Кирюшу. Тоже проблемы, как ты говоришь, решает. Водопровод ведет к скотному двору. Поилки эти самые ставить хочет... Ну как их! — подскажи, Андрей Васильевич?

— Автопоилки?

— Они, они, авто. Ткнет корова морду — вода сама набегает. Подумать только, а! Ну ведь то — Кирюша! У него и заморская скотина в бока пошла. Заглядение!

Карабанов смотрел на коричневое лицо Митрича в окладе белой с прочернью бороды, почти не слушал, о чем дед говорил, думал о том, что и в самом деле пора бы науке разрешить проблему долголетия человека. Ни в семьдесят, ни в восемьдесят лет не хотят вспоминать люди о смерти. И понятно. Митричу восьмой десяток, но жил-то он настоящему еще только лет тридцать. Да и того, пожалуй, меньше. До коллективизации батрачил у Никиты Воскобойникова, на промышленной пасеке, бездомничал. Только теперь старик стал хозяином, уважаемым и почтенным. О смерти ли ему думать!

Вечером Карабанов собрался было ехать дальше по району, да где там, — не отпустили, повели на реку. На береговом песке, распугивая комаров, дымно горел костер. Пламя лизало бока черного от копоти ведра, из которого вместе с паром шли крепкие острые запахи, а уха, как и требовал того старый рыбацкий обычай, уже варилась. По давнишнему же обычаю к подъему невода на берегу собралось без малого все мужское население деревни. Одни помогали рыбакам управляться с сетями и рыбой, другие просто сидели на изведенных водой днищах опрокинутых челнов в ожидании, когда в ведре поспеет душистое варево, чтобы отведать его вместе с рыбаками. Завечеревшее небо темнело над рекой, зеленые проступали в нем звезды, над огненной дорожкой, далеко протянувшейся по тихой воде от костра, бесшумно и мягко вились летучие мыши.

И так же, как было днем на пасеке, на берегу в этой вечерней тишине зашел разговор о жизни, о больших делах, о планах, по выражению председателя колхоза, «дальнего прицела». Председатель Степан Валежников, в синем пиджаке, в крепких сапогах с подковками, сидя возле костра, толковал о будущей электростанции, о многоукосных клеверах, о мичуринском саде, о колхозном кирпичном заводе.

— Все это хорошо, — перебил его Карабанов. — Но если говорить откровенно, товарищ Валежников, то в образцовом порядке у вас только молочная ферма. В остальном же столько еще прорех и недоделок... Торфянице не осушили, камень для облицовки плотины не подвезли, птица ночует под дырявой крышей. А молочная ферма, повторяю, никакого упрека ей сделать не могу. Кстати, почему заведующего не было видно?

— Квасникова-то? На покос, должно быть, ходил. Осоку на силос обкашиваем.

— А что, Андрей Васильевич, у Квасникова плохо? — развел руками Валежников. — Это ж такой человек!.. Разобраться настоящему — полному профессору. Коровы у него, что львы, — всякому видно. А почему? Научный подход. Ты зайди к нему в дом, посмотри. У него книг полтыщи. Не то что коров — какого африканского зверя он выходил! Слышал, поди?

— Что-то нет, про африканского зверя не слыхивал.

— Знаменитая же история!

Карабанов улыбнулся, ожидая подвоха. Сам он вышел из крестьян и прекрасно знал, что русский крестьянин любит подшутить. Особенно, конечно, подшутить над приезжим, пусть даже то будет и секретарь райкома.

— Я, гляди, напутаю, — решил Валежников. — Давай лучше самого «профессора» позовем. Квасников! — крикнул он в темноту. — Кирилл Ильич!

Оттуда, где на черные кольца развешивали невод для просушки, откликнулся веселый звонкий тенор:

— Есть, Квасников!

— Иди-ка, ефрейтор, сюда. Без твоей помощи обойдутся. Да ты садись, садись, разговор долгий будет.

— Здорово, Кирилл Ильич! — пожал ему руку Карабанов. — Что ж ты никогда мне про африканского зверя не рассказывал? От других слышу.

— Вот длинные языки! — досадливо отмахнулся Квасников. Он тоже присел возле костра, застегнул зачем-то пуговицы на вороте гимнастерки. — Им скажи — по всему свету разнесут. Зверь-то, Андрей Васильевич, был ручной, хотя и африканский. Никакой, выходит, разницы — что он, что корова. О чем толковать?

— А зверь-то, зверь какой все-таки?

— Обыкновенный зверь. Бегемот.

— Бегемот?! — Карабанов удивился не на шутку. Где же это и когда лучший животновод района Квасников, тихий, мирный веселчак, выхаживал бегемота! Так и есть, очередной подвох.

— Вижу, от рассказа не уйти, — заметил его сомнение Квасников. — Давай, Андрей Васильевич, слушай по порядку.

Он утер разжарившее возле костра лицо, от сунутой в огонь щепки прикурил папиросу, выпустил дымок, от которого комары шатнулись еще дальше в стороны.

— Так было дело, — заговорил. — Освободили мы наш городок в Прибалтике. Четыре дня штурмовали. Немцы, понятно, как это у них и водилось, жгли дома. Дым, пламень видим под крышами. Ну, вошли мы в ярость, и вот — ворвались. Не буду я вам, Андрей Васильевич, всего рассказывать. Сами воевали, знаете, какую картину встречал советский солдат в городах, освобожденных от врага.

Квасников снова затянулся папиросой.

— Очищаем от остатков немецких войск здания. Парки там были большущие, сады. Натыкаемся на зверинец. Тоже, понятно, остатки. Глядим, наш комбат, майор Авдеев, выходит из одного звериного домишка и говорит: «Эй, ребята, есть среди вас кто понимающий в животноводстве?» «Я, говорю, понимаю, товарищ майор. Три года колхозной фермой заведовал». «Давай, ефрейтор, осмотри этого представителя животного царства. Что-то с ним не того». И ведет меня прямо в домишко. А там на дне сухого бетонного бассейна лежит здоровенный бегемотище. Раскровавленный, немощный. «Эх, думаю, неосторожно тут наши осколочным шарахнули». А кто-то из подоспевших бойцов и верни на грех: «Что с ним возиться, товарищ майор! На колбасу собакам — да и только».

Комбат обернулся. «На колбасу? Соображать надо, товарищи. Эта животина тоже, как и все прочее, государственное достояние. За нее, может быть, золото мы капиталистам платили. И, может быть, она — наглядное пособие. Школьники по ней зоологию изучали. Попробуй-ка, одним словом, товарищ Квасников, сделай что-нибудь, чтобы она еще науке послужила».

Я, понятно, подошел, осмотрел. Одиннадцать пулевых дырок в боку, по спине этакие борозды чем-то пропаханы.

«Плохо, говорю, дело, товарищ майор».

«Ну раз плохо, вот и займись, — отвечает. — Поручаю тебе животное».

А и верно, обстановка позволяла. Части наши уперлись в морской берег, дальше идти некуда, противник по всему побережью ликвидирован. Вышел, как говорится, временный отдых. Я и занялся, Андрей Васильевич. Перво-наперво пошел медикаментов просить: креозоту, карболки или еще чего подобного — раны обработать. Вернулся часа

через три, гляжу — в зверинце старичок бродит, белый, тощий, ну вроде насквозь просматривается.

«Товарищ, говорит, военный. Я до немецкого разбоя сторожем в зверинце служил, может, помогу вам в чем. Они вот всех зверей за три года извели, а Сашка не дался. Он хоть и бегемот, а держался в этом деле, как лев».

Помаленьку да потихоньку старичок и рассказал мне всю Сашкину историю. Я, как говорится, согрешил, подозревая наших артиллеристов. Не они, вышло, покалечили бегемота. Вот как описал событие очевидец. Увидели немцы, что делу их конец, — и давай в городе зверствовать. Все крушат, ломают, жгут. Вспомнили, видишь ли, про бегемота. Пока он их солдатню развлекал, кое-как берегли, а тут решили прикончить. Ничего, дескать, русским не оставим. Забежал с вечера в зверинец лейтенант, с белыми косточками и с черепом на рукаве, и давай палить из парабеллума. Сашка, понятно, не будь дурак — бултых в свой бассейн.

— Ну и правильно, — сказал кто-то из-за спины Квасникова.

— А что — правильно! — не оборачиваясь, ответил животновод. — Лейтенант-то позвал фрица с автоматом, да и вели ему караулить — выглянет, мол, бегемот воздухом подышать. Фриц охотился часа два. Изловчился-таки, всадил очередь в Сашку. Но Сашка опять в воде притаился. А наутро, уже как нам в город войти, еще какой-то фриц забежал, выпустил воду из бассейна да давай пороть скотину штыком. Ну, случилось так, что противотанковой пушки у них поблизости не оказалось, и бегемот остался жив. Пули, скажу вам, Андрей Васильевич, ему никакого вреда не причинили, и резаные раны — тоже. Пострадал бегемот в основном от голодухи. Против довоенного он за немецкую оккупацию и так-то отощал на семьсот килограммов. Как старичок свидетельствовал, три тонны тянул в былое время. Стал хуже промятого матраца. А в последнюю неделю его и вовсе никто не кормил. Разобрался я, что к чему, принес ведро свеклы, так он сразу на ноги вскочил.

— Главное — линию определить! Дело пойдет, — опять сказали из темноты.

— Семь дней мы стояли в том городке, — продолжал Квасников. — Семь дней я возился со зверем. Выходил его. И до того он ко мне привык, — что, как зайду в помещение, лезет из воды, пасть разевает, ревет: давай харчиться! Сыплю я ему в глотку картошку, а сам своих буренок вспоминаю: как-то они там без меня, кто за ними ходит?

Папираса у Квасникова погасла, он выловил прутиком уголек из костра, опять прикурил.

— Ну, а дальнейшая судьба бегемота не известна? — спросил Карabanов.

— Как не известна! Известна. Заведующий зверинцем сообщает. Здравствует, мол, ваш пациент. Школьники его изучают на экскурсиях. Даже, говорит, сочинение писали по русскому языку о том, что один ефрейтор в боевой обстановке вылечил гиппопотама. По-научному, Андрей Васильевич, бегемот гиппопотамом называется.

— Извините, дорогие беседчики,— подошел, шаркая валенками, Митрич.— Заговорились вы, а ушица-то, поди, и переспела.

— И то верно,— спохватился председатель, заглядывая в ведро.— А ну, разбирай ложки! И ты, Митрич, подсаживайся. Не одним медом жив человек...

— Не одним,— пригладил бороду дед. Глаза его хитро блеснули в свете костра.— Кирилл Ильич коровенок книжками вот кормит, а они у него, что тот стали... Как его?.. Бегемот-то... Здоровенные!

— Не книжками, а по книжкам,— обиделся Квасников.— Вел бы и ты, дед, своих пчел, как наука велит,— давно бы по двести граммов меду на трудодень получали. А то только хвастаешь.

— Хвастаю?! Зайди, зайди, крикун, ко мне на пасеку, ты у меня в меду утонешь вместе с твоим гиппопотамом. Хвастаю! — Дед решительным жестом оправил складки своей рубахи под ремешком...

Чтобы не дать разгореться спору, Валежников принялся поспешно раскладывать рыбу по деревянным лоткам, разливать уху. Но спор все-таки разгорелся и за ухой. Спорили ожесточенно. Карабанов никого не останавливал. Не на меже из-за единоличной деланки схлестнулись люди — из-за того, как лучше и правильнее вести общественное хозяйство. Таким спорам не мешают.

После ухи гуляли по деревенской улице, снова толковали о делах, о планах. Потом Квасников пригласил к себе пить чай.

Дом у животновода был небольшой, но какой-то особенно складный и удобный по расположению. Пока хозяин объяснялся с хозяйкой на кухне, Валежников распахнул дверь в боковую комнату, щелкнул там выключателем, позвал Карабанова:

— Взгляни сюда, Андрей Васильевич!

Карабанов вошел, увидел письменный стол, несколько новых стульев, пружинный диван и, главное,— множество книг на разделанных под дуб высоких полках.

— Хорош кабинетик?

— Хорош,— похвалил секретарь райкома.— А библиотека просто отличная. Что тут? — разглядывал он корешки толстых томов.— Пушкин, Гоголь... Вот и Ленин. По подписке?

— А как же! У нас весь актив на труды товарища Ленина подписался. По подписке на литературу,— Валежников говорил это

с гордостью, — наш колхоз, пожалуй, не совру, Андрей Васильевич, первым идет в районе. Митрич и тот пчеловодческий журнал получает.

— Мне бы еще «Крокодил» схлопотать, — ввернул дед, остановившийся в дверях. — До чего веселые в нем описания, прямо, Васильич, умора!

— «Крокодил» «Крокодилом», Кузьма Дмитриевич, — Карабанов взял деда под руку, — а и специальные книги читать надо.

— Не сам читаю, глазами слаб, — внучка этим заведует, скучно ей научные книги читать. Вот про смешное — хоть целый вечер будет... А еще про то, как жизнь на земле завелась, про небесные светила, про старину, про героев наших... И просить не надо, сама говорит: садитесь да слушайте, дедка с бабкой.

— А есть такие книги в колхозе?

— Есть, Андрей Васильевич, — за Митрича ответил Валежников. — Кирюшина библиотека, конечно, самая богатая — пятьсот томов. Но и у других по пятьдесят, по сто книг сыщешь. Без литературы нынче жизнь не мыслится.

Чуть свет секретарь райкома собрался наконец ехать, хотя Валежников вновь уговаривал его остаться, еще покажет плотину — не далеко тут, четыре километра, да новую силосную башню, да клеверо-терку какую купили!..

Еле отбилса. Но уехал опять-таки не сразу. «Эмка» задержалась при выезде из ворот двора Валежникова: по улице на пастбище гнали стадо. Ревели, терлись широкими боками пестрые коровы; клубя копытами серую пыль, едва прибитую росой, прорывались между ними бестолковые овцы; теряли матерей и жалобно кричали ягнята. В этой толчее важно шествовал могучий бык с грозными рогами и печальным беззлобным выражением глаз под густыми надбровьями.

— Откуда такой красавец? — Карабанов открыл дверцу машины.

Валежников подошел.

— Да это ж Витязь, Андрей Васильич. Не узнали?

— Постой, постой... Витязь?

Карабанов помнил одного Витязя, причинившего беспокойство всему району. Позапрошлым годом министерство прислало в совхоз «Бугры» необыкновенного чистопородного быка. Бык почему-то хирел, чах, какие только хитрые меры не принимали совхозные зоотехники. Потом Витязя передали в колхоз «Победа» — самый передовой в районе по животноводству. И в конце концов пришлось все-таки дать согласие выбраковать его на мясо. Даже комиссия из Облзо подтвердила: не жилец.

— Неужели это он, тот Витязь?

— Он, Андрей Васильич. Как есть — он. Вы-то уже уехали,

когда его окончательно списали, не помните. А вот Квасников не дал резать, на санях увез его с бойни, прямо, скажем, из-под ножа. Ну и ходил за ним, что нянька, только из рожка не кормил да в зыбке не качал.

Бык скрылся за домами, остатки стада втягивались в узкий прогон меж амбарами. Позади, провожая пастухов, шагал сам Квасников. Он тоже подошел к машине.

— Витязь-то, а? — кизнул вслед стаду Карабанов.— Потрудней поди Сашки пациент?

Квасников только улыбнулся. А Валежников сказал торжественно и уважительно:

— Наука, Андрей Васильевич! Без нее, как говорится, крышка.

Но Карабанов думал несколько иначе. Давно по сторонам мягких проселков мелькали жницы с серпами, тракторы в голубых дымках, пахари, понукающие коней, давно «эмка» мчалась опушками желтых лесов, спускалась к мостам в овраги и огибала встречные возы с сеном, с вершин которых махали ей вслед платками девчата, а секретарь райкома все еще не мог расстаться с мыслью о том, что и сама наука была бы бесполезной без людей, влюбленных в свое дело, и без великой цели, озарившей этим людям их путь в будущее.

## ВСТРЕЧА НА БЕРЕГУ РЕКИ

Бойцы взвода лейтенанта Костычева под мелким осенним дождем шли по левобережному лесу. Собственно, это был еще не лес в полном смысле слова, а только подлесок — деревья немногим превышали рост человека. Здесь очень трудно было ориентироваться. Хотя бы просека или лесная дорога, какая-нибудь особенная сосна или замшелый валун... Ничего! На десятки верст — густое сплетение орешника, чахлых осин и можжевельника. Не на что даже влезть, чтобы окинуть взглядом окрестность. Но если бы и было на что влезать, глаз все равно увидел бы только серое бескрайнее пространство; серое, потому что листва с орешников и осин уже облетела, и ржавые листья мокли в глубоких не то канавках, не то тропах, петляющих во всех направлениях меж кустами.

Лейтенант Костычев слышал такое мнение колхозников о здешних местах:

— Лешишко у нас вроде и пустяковый, а почище твоей тайги будет. Корова или лошадь заплутает, три дня ищи — не сыщешь.

Скотину поэтому без жестяных колокольцев на рогах или на шее сюда на пастьбу не выпускали. Пастухи просто-напросто не брали таких коров в стадо.

И еще местные жители рассказывали, что, когда немцы отступали к переправам, много их путалось в орешниках да осинниках. Били их тут наши части, заходя в обхват, били и партизаны; и тропки коровьи тоже не щадили врага: кружил немец в панике по бездорожью, грузовики свои бросал, пушки, скарб всякий военный — только бы ноги унести.

А кусты — они такое дело. Ты дорогу в них ищешь — не сыщешь, а укрыть они тебя, да еще и с обозом, никак не могут. С утра до ночи вились летчики-штурмовики над загнанным в ловушку противником — только боеприпасы подавай, а целей сколько хочешь.

— Могильник получился громадный! — заключали свое рассказы о тех днях колхозники. — Бабы наши по ягоды ходить туда опасались. На скелет ненароком наскочишь, а то и этого почище — на мину.

И скелеты и мины давным-давно, конечно, исчезли на замысловатых тропах, но лес кое-где все еще хранил следы большого разгрома.

Пулеметчик Гусев поддел носком сапога ржавую каску с рогами, такую дырявую, что в ней не держалась дождевая вода. Ефрейтор Баулин поднял, было, рубчатую коробку противогаса, но тут же бросил ее, брезгливо обтер руки мокрыми опавшими листьями: мараться-де неохота. Кто-то крикнул из-за кустов: «Гусеница от танка!» — а вскоре все вместе набрели и на самый этот танк. Башня сорвана, лежит во мху, будто непомерной величины прогоревшая кастрюля, — устьем кверху, и даже ручка есть — погнутый ствол пушки. Рядом — угловатый остов с вывернутым железным нутром, подранный в лоскутья. Лоскутья раскиданы в окрестных кустах. Видимо, танк, на изъеденной окисью броне которого еще различается черным силуэт слона с поднятым хоботом, попал под бомбовый удар штурмовиков, потерял гусеницу, кружился тут, горел, наверное, и потом взорвался. А может быть, и прямое попадание.

Костычев коротко рассказал заинтересовавшимся бойцам о своем предположении, и взвод продолжал путь. Задерживаться не позволяло время — день перевалил на вторую половину, а до реки, до конечного пункта похода, было еще далеко.

На ходу лейтенант обернулся, поискал глазами среди бойцов командира первого отделения, окликнул:

— Товарищ гвардии старший сержант! Прошу сюда!

Быстро подошел Лагутин, роста выше среднего, чернобрый, гладко выбритый, в глазах внимание. Костычев с удовольствием окинул его взором. Казалось, ни дождь не берет гвардейца, ни грязь, и листья не пристают к его сапогам, шагает легко, твердо, словно только что вышел из лагерного городка.

Лагутин не очень давно был в этой части, но уже успел хорошо зарекомендовать себя как инициативный, требовательный и к себе, и к бойцам младший командир с большим боевым опытом. В полку все были довольны им, и особенно Костычев; он считал командира первого отделения своей правой рукой.

— Лагутин, — сказал Костычев, — вы, насколько мне известно, воевали в этих местах и могли бы куда лучше меня рассказать солдатам о том, что здесь происходило. Я лишь предположения строю о боях за переправы, а вы их участник.

— Так точно, товарищ лейтенант, — ответил Лагутин. — Воевал здесь. Но в этих лесах действовать не приходилось. Наша дивизия позже пришла. Мы форсировали реку и выбивали противника с правобережных рубежей.

Дальше Костычев шел молча. Он неспроста выбрал для занятия такую трудную местность и такой ненастный день. Лейтенант добивался того, чтобы его солдаты уверенно ориентировались в любых условиях: в бесконечном, однообразном кустарнике, где ни крон деревьев, обычно более ветвистых с южной стороны, ни покрытых лишайниками затененных с севера стволов, ни муравьиных куч. Даже

солнце было скрыто плотными тучами и не могло помочь ориентировке.

Идти через такой лес можно было только с помощью карты, которую тщательно изучили еще вчера, и с помощью компаса — по азимуту.

Обязанности азимутчиков во взводе лучше всех исполняли Стекольников и Васин. Они отлично знали топографию, отлично владели картой, компасом, могли с помощью часов определить страны света и, казалось, на голом месте, хоть в каракумских песках, способны были придумать какой-нибудь заметный ориентир. Но на этот раз Костычев назначил азимутчиками Андрианова и Плесько, и назначил их потому, что оба они, как говорили о них товарищи, «плавали» в ориентировке на местности. Переход через такой лес должен был стать для Андрианова и Плесько серьезной школой.

Так, собственно говоря, и случилось. Лейтенант в действия азимутчиков не вмешивался, даже по лицу его нельзя было понять — правильно или неправильно идет взвод; и Стекольников с Васиным тоже помалкивали. Плесько с Андриановым приходилось рассчитывать только на свои силы. Когда доходили до такого места, которое соответствовало очередной отметке на карте, Костычев приказывал азимутчикам рассуждать вслух, объяснять взводу, что они намерены делать дальше и как именно.

— Учтите, — говорил он им, — что долго раздумывать нельзя. Представим себе, что мы выполняем боевую и очень оперативную задачу. Например: противник в панике отступает к переправе, как тут в свое время и было, а нам приказано параллельным броском вырваться к реке раньше противника и овладеть переправой. Что ж, мы разве станем поглядывать друг на друга, покуривать и рассуждать, не торопясь, как у классной доски?

На мокрых лицах бойцов при упоминании о классе появились улыбки. Уж очень мало окружающая обстановка походила на классную. Шурша ветвями орешника, из низких туч, таких низких, что ключья их, обрываясь, вились почти над самой землей, сеял мелкий затяжной дождь. Дождевая вода стеклянными шариками висела на сучьях, и, стоило задеть куст, с него, дробно стуча по опавшим листьям, как карточь, сыпались тяжелые капли, под ногами чавкало, за воротниками было мокро, а главное, если Плесько с Андриановым совершат ошибку и приведут их совсем не туда, куда следует, эту ошибку не сотрешь тряпкой, как с классной доски. Собственными ногами ее исправлять придется, снова шагать по кустарнику, спотыкаясь о голые, похожие на черных гадюк, корни, скользить на прелых листьях.

И потому что этого в душе сильно опасались, но без этого все-таки обошлось, бойцы чуть ли не в один голос закричали: «Река!» — когда многоверстные кусты наконец расступились и впереди стал виден крутой обрывистый берег.

— Хорошо! — сказал Костычев, который, кстати говоря, всю дорогу знал о том, что взвод идет правильно. — Даже и не хорошо, а просто отлично справились со своими обязанностями наши азимутчики. Что мы отметили вчера на карте, помните? Вот эту излучину, — указал он рукой на обрыв, где одиноко чернела то ли молнией, то ли снарядом перебитая береза, из-за огромного нароста на стволе похожая на старую горбунью. — И точно вышли к отметке.

— С одним компасом?

Слова эти сказал человек в брезентовом плаще с поднятым на голову капюшоном. Он по пояс стоял в можжевельных кустах и своим до черноты намокшим плащом почти сливался с такими же мокрыми черными стволами низкорослых осин.

Цель похода была достигнута. Костычев скомандовал бойцам привал и подошел к человеку в плаще. За его спиной в кустах он увидел несколько палаток и еще людей, тоже одетых в брезент. Они толпились возле костра, слабого, который едва дымился и, пожалуй, не мог даже рук обогреть. Тут же стояли желтые деревянные треноги с какими-то приборами, покрытыми кожаными колпаками. Колпаки походили на артиллерийские панорамы или на оптические прицелы к снайперским винтовкам. Но, несмотря на колпаки, Костычев догадался, конечно, что это геодезические инструменты, и догадался также, что люди, собравшиеся здесь, видимо, газовики. Ему уже приходилось слышать о трассе газопровода, который должен пройти где-то здесь в ближайшие два-три года.

— Ну, не только компас, — ответил он человеку в капюшоне и потянулся в карман за портсигаром. — Еще и навык, знание топографии...

— От слова «топать»? — улыбнулся человек в капюшоне. — Мы вот тоже топаем и топаем. Только наше хозяйство посложнее вашего — нивелир, теодолит, мензула. Я инженер-геодезист, будем знакомы.

Разговорились. Инженер уговорил Костычева бросить папиросу, предложил свой табачок, какой-то особенный — сын прислал из Абхазии. Закурили.

Разговор зашел о строительстве газопровода. Лейтенанта интересовала газовая трасса, ее протяженность, уже сделанные на ней работы; инженер расспрашивал о солдатском житье-бытье — как никак сам три года на войне был — в саперном батальоне.

Бойцы тем временем занимались своими делами. Васин, найдя, что костер очень уж слаб («Видать, сноровки у вас нет, товарищи!»), развел яркий огнище. Плесью сушил сапоги, да и остальные сгруппировались у огня, пользуясь случаем погреться.

Только гвардии старший сержант Лагутин бродил по обрывистому берегу, внимательно осматривал разбитую березу, сталкивал ногой камешки в воду.

Инженер с Костычевым тоже подошли к обрыву, встали над горбатым стволом березы, скрываясь от дождя.

— Ждем вот водолазов,— говорил инженер.— Без водолазов не обойтись, заело нас с этим дном. Трубы по нему вести придется. А что там такое — неизвестно. Глина, песок?

— Камень там, товарищ инженер,— неожиданно отозвался Лагутин.— Особенно на середине, видите, где быстрина? Грядой лежит камень. Подрывать вам его, пожалуй, придется.

— А вы откуда это знаете?

— Хаживал...

— Где хаживали?

— Да по дну. Вот в этом самом месте. Знакомое место. Береза, и та знакомая — немец ее так испоганил миной. По нам кидал. Вспомнил я все.

Инженера нисколько не удивило, что нашелся человек, который воевал в здешних краях. Окажись он сам где-нибудь под Великими Луками, под Смоленском или даже под Варшавой и Кюстрином, встречный человек тоже увидел бы в нем большого знатока тех мест: и переправы инженер там наводил, и гати прокладывал через болота, и сотни километров дорог исходил собственными ногами.

Его удивило другое.

— По дну хаживали? — недоверчиво переспросил он. — Так ведь здесь же глубина более трех метров.

— Да, примерно... — спокойно ответил Лагутин.

Костычев знал, что старший сержант слов на ветер не бросает и пустого бахвальства за ним никто не замечал.

— Давайте-ка, Лагутин,— сказал он,— изложите по порядку все, что знаете о рельефе дна. Может быть, ваши сведения пригодятся товарищам.

— Конечно! Это очень ценно! — поддержал и инженер.

— Хорошо,— начал Лагутин.— На том берегу закрепился немец. На этом — мы. Готовимся к форсированию. Я в разведке тогда служил. И вот приказали нам разведать огневые средства противника, а как к ним подобраться? Река ведь. Сами видите, ширина какая! Мы уж и плотики строили и на пузырях ночью плавали... Никак! Начет враг ракеты жечь да по водному зеркалу минами пахать — вода кипит. А там и автоматчики с берега застрочат. Плохо дело. И стало оно еще хуже, когда пришел приказ во что бы то ни стало взять «языка». Представляете?

— Вполне,— кивнул головой инженер.

— Вот тогда,— продолжал Лагутин,— командир нашего отделения, старший сержант Куприянов, и говорит командиру взвода: «Дайте мне какую-нибудь клистирную трубку, и я схожу на тот берег, посмотрю, что там и как». Рассказал, одним словом, свой план. Ну, конечно, не клистирную — это он так, для красного словца сказал,—

достали ему в санбате резиновую трубку, которая идет для жгутов, кровь чтобы останавливать... Метра так в три. Потом он взял с дуба лопастину коры с полметра примерно, просверлил ее, продел трубку так, чтобы сверху над корой сантиметра на два торчала, и с этой снастью, раздевшись, полез ночью в воду. Мы тут из блиндажика смотрели — видите, бугорок остался и бревно торчит. Смотрим — пропал парень. Только лопастина черной точкой на воде качается и помаленьку от берега уплывает.

Лагутин приулок на минуту. Он в раздумье смотрел на седую от дождя воду, словно видел, как по быстрине, наперерез течению, движется черная лопастина дубовой коры.

— Да,— продолжал он.— Долго ждали. Только часа через три возвратился Куприянов. Вылез на берег, будто водяной. Синий весь, дрожит. Мы его суконкой подрастерли в блиндаже. Дела, прямо скажем, были нормальные. Насчет пулеметов, минометов, пушек прямой наводки на этом участке старший сержант все узнал. Ходил, говорит, там среди фашистов в чем на свет родился. Теперь оставалось что? «Языка» взять. «Всем отделением я вас за ним через реку поведу,— заявил Куприянов.— Готовьтесь». И началась у нас само- сильная тренировка. Озерко тут есть недалеко...

— Не доходя шоссе,— заметил инженер.

— Правильно. Вот мы к озерку к этому, в тыл, значит, дня три и ходили. У всех были трубки куприяновской конструкции. Влезешь в воду, к ногам тяжести какие-нибудь привяжешь, чтобы наружу тебя не выметывало, трубку — в рот и через другой конец, над водой который, дышишь. Сначала плоховато ходилось. Вода из стороны в сторону тебя шатает. А потом наловчились. И вот однажды ночью двинулись через реку, как раз в этом месте, метрах в двадцати левее березы. Вон там спуск виднеется. Ну, и пришлось, как говорится, все дно изучить. Каменья здоровенные, колени ими в кровь избил.

— Перебрались? — с интересом спросил инженер, снова доставая из кармана коробочку с особенным табаком.

— А как же! — вслед за лейтенантом свертывая самокрутку, ответил Лагутин.— И перебрались и «языка» взяли. Его Куприянов еще в первый раз высмотрел. Автоматчик. Сидел на берегу в секрете, в ячейке, да постреливал. Мы, как выскочили из воды, так сразу его и скрутили. Кляп в рот — пискнуть не успел. А чтобы переправить на нашу сторону — это, понятно, сложнее, с трубкой-то он не пойдет,— мы заранее такую механику придумали. Один из нас, когда по дну шел, за собой конец бечевки тянул. К бечевке доска широкая привязана была. И вот пока мы немца крутили, тот разведчик доску на бечевке через реку быстро перетянул. Плюхнули в нее немца, привязали крепче. А там уж другой веревкой его, как челнок, наши к себе перетаскивали. Мы еще по дну шли обратно, а он уже давно переехал.

Водички, правда, малость хлебнул: доска-то возьми и перевернись посреди реки...

Увлеченный воспоминаниями, Лагутин и не заметил, как постепенно вокруг старой березы, под которой стоял он с командиром взвода и инженером, собрались все бойцы. Заслушались, о дожде, об усталости позабыли. Случалось, и прежде гвардии старший сержант рассказывал им разные истории из боевой жизни, но такую, о подводном хождении, слышали они от него впервые. Восхищались находчивостью и смекалкой разведчиков, на ус наматывали.

— Ну вот и все. Камни, значит, на середке,— закончил Лагутин.

— Большое спасибо! — пожал ему руку инженер.— Очень ценные сведения.

— Если бы знал я тогда,— смущенно улыбнулся бывалый разведчик,— что когда-нибудь для народного хозяйства пригодится, я бы все дно облазил.

Бойцы обогрелись, обсохли у костра и вскоре распрощались с геодезистами. И те и другие спешили продолжать свое дело.

## СТЫЧКА У ДЗОТА

По пятницам в школу трактористов приходил сержант запаса Сенюшкин. От окраины районного городка до Розовой дачи, занятой школой, было не более трех километров. Сенюшкин шел лесом, не спеша, пересвистываясь с утренними пичугами, забирался в мягкий мох за гоноболью и все-таки приходил слишком рано.

Он садился на бревна, холодные с ночи и немного влажные, курил, слышал звяканье ложек, доносившееся из длинной дощатой столовой, гул голосов, сквозь который прорывались выкрики особых заدير, — терпеливо ждал.

Потом, толкаясь и тискаясь в дверях, будущие трактористы группами выбегали на обширный двор, заставленный всевозможными машинами — от гусеничного «нати» до жмыходробилки, робко прижавшейся к высокому самоходному комбайну.

Были тут разные ребята. Были такие, что всегда ходят в начищенных сапогах и ботинках, в отутюженных брюках и непомятых пиджаках. Были щеголи иного склада, за особый шик считавшие запятнанную маслом куртку, спозаранку измазанное копотью лицо, — бывалый, мол, водитель могучих машин. Были и третьи, — не утратившие мешковатости крестьянских парней из маленьких дальних деревенок. У таких и пояс не затянут как следует, и пуговицы не все застегнуты, и дорожная грязь по три дня сохнет на голенищах.

Но завидев Сенюшкина, который при их появлении на дворе вставал с бревен и тщательно затапывал каблуком скурор, и те, и другие, и третьи словно менялись.

Торопливо застегивались пуговицы, одергивались рубашки и куртки, ту же убирались под пояса животы. Иной из ребят забежит за машину, примется сдирать щепкой грязь с сапог, щедро плевать на заскорузлую кожу, отчаянно трет ее тряпкой или пучком сухой травы.

Иначе нельзя. Просто даже и невозможно иначе с Сенюшкиным. В его одежде, как ни старайся, изъяна не найдешь. Такой придира, как Костя Левшов, который сам ходит в аккуратном военном костюме старшего брата, и тот не смог этого сделать.

Обладатели гимнастерок не раз пытались подшивать подворотнички, как подшивает их Сенюшкин. Не выходит. То подошьется так, что

его и не видно совсем, то торчит сверх всякой меры или морщинуется. У Сенюшкина подворотничок — подсиненный, будто узкий голубоватый кантик, плотно охватывает он загорелую шею инструктора. Да что подворотничок! А гимнастерка как запроважена сзади — складка в складку. А сапоги... О сапогах и говорить нечего — возьми вместо зеркала и брейся.

Слов Сенюшкин попусту не тратит, говорит только то, что относится к делу, четко и ясно, понимают его с одного раза и переспрашивают редко.

По правде-то говоря, переспрашивать и нужды нет. Сенюшкин сам всегда видит, кто понял, а у кого рассказанное или показанное еще не улеглось в голове. Только взглянет на лица слушателей — и видит.

— Петров, — скажет, — а ну-ка, что такое азимут? Не уразумел. А вместе с другими головой машешь. Не годится так. Стесняться в учении нельзя, Петров. Не понял чего — спроси, не мешкай. Иначе что получится? К одному недоумению другое прибавится, третье — и пойдет и пойдет расти в голове неразбериха.

Лет Сенюшкину было немного, но ребятам он казался куда старше, и они считали, что в армии их инструктор прослужил по крайней мере лет с десяток.

— Бывалый фронтовик! — говорили они о Сенюшкине.

Командирские его навыки, особенно умение влиять на людей личным примером, и учли в районном совете Досарма, когда комсомольцы школы трактористов обратились туда с просьбой выделить им инструктора по строевой, тактической и стрелковой подготовке.

И вот каждую пятницу, едва над землей займется рассвет, Сенюшкин шагает через лес на Розовую дачу, почему и когда так названную — никому не известно. Никаких роз на даче этой нет, и само здание школы окрашено отнюдь не в розовую, а в серую краску. Может быть, играет тут роль то, что главный его фасад смотрит на восток, и когда Сенюшкин сворачивает из лесу на проселок, прямо перед ним в широких окнах ослепительно плещет отраженное пламя утренней зари.

В очередную пятницу инструктор пришел уже не в гимнастерке, а в пальто. Утро было по-осеннему холодное, и на бревнах вместо росы лежал тонкий иней.

Его ученики, поеживаясь, расхватывали из козел под навесом учебные винтовки, возле которых круглые сутки дежурили часовые-досармовцы, затем построились в походную колонну. Через ячменное жнивье, через капустные борозды, поросшие могучими, как надолбы, кочанами, Сенюшкин повел их в этот день к тихой речушке, которая среди пожелтевшего кудрявого ивняка петляла, огибая большое картофельное поле.

Картофель созрел, ботва стояла жухлая, осенняя. Сухо шуршала она под ногами коней, запряженных в плуги. Женщины выбирали из

земли розоватые клубни, сыпали их в мешки, расставленные среди борозд, шумно переговаривались. Соседства этого Сенюшкин не предвидел, но, подумав, решил, что отработать назначенную на сегодня тему оно помешать не сможет. «Колхозницы заняты делом, — сказал он как бы в ответ на вопрошающие взгляды своих учеников, — и мы займемся делом. Каждый выполняет ту задачу, которая ему положена».

Отступать ему не хотелось, занятие было задумано интересно. Над речкой, на пригорке, еще с дней войны стоял полуразвалившийся лобастый дзотик. Пасть его, когда-то плотно сжатая в злую щель амбразуры, по-стариковски провалилась, накат кровли провис, гнилые бревна торчали с боков, как оголенные ребра, и над ними тонкой веточкой поднялась молодая рябинка, на которой, будто капли пролитой здесь крови, повисли две кисти пунцовых ягод.

Дзотик отжил свое, одряхлел, но дело заключалось совсем не в его возрасте. Важно было то, что из разбитой амбразуры открывался хороший обзор, и Сенюшкин посадил в дзот Костю Левшова с трещоткой.

— Наблюдайте, Левшов, внимательно, — сказал ему строго. — Заметите переползающего, — давайте очередь. Ясно? А наше дело, — обратился инструктор к остальным, — действовать так, чтобы противник, то есть Левшов, нас не обнаружил.

Показ — самый лучший метод обучения, это Сенюшкин усвоил давно. Он сбросил с себя пальто, лег на сыроватую холодную землю и пополз к дзоту. То ли и в самом деле он так ловко пользовался бугорками, канавками и пожелтевшей клочковатой травой на пути, то ли Левшов лукавил, чтобы не вводить в конфуз инструктора, что, конечно, вряд ли, потому что Костя был известный придира, но как бы там ни было, а трещотка молчала до тех пор, пока наконец Сенюшкин не появился рядом с амбразурой.

— Ясно? — крикнул он оттуда. — Так действовать! — И сбежал с пригорка вниз. — Ласкин!

Пополз Ласкин. Но он не преодолел еще и половины расстояния, а Левшов уже поднял невообразимый треск. Ласкин вернулся. Пополз Антонов — и его «прошила» шумная очередь из дзота. То же случилось и с Петровым.

— Товарищ инструктор! — не выдержал Воробьев, считавшийся одним из лучших пластунов среди будущих трактористов, — Левшов жилит. Не видит, а палит. Пускай жердинкой какой-нибудь дополнительно указывает.

Сенюшкину такой способ проверки добросовестности Левшова понравился. Воробьев выломал ивовый прут, отнес его Левшову. У «противника» дело от этого пошло куда как хуже. Воробьев ползет слева, а хворостина из дзота тычется вправо. Ласкин движется в лоб,

а Левшов же указывает во фланг, в нужную точку не попадает. Ребята еле сдерживались от смеха, но смеяться было нельзя: Сенюшкин не терпел этого на занятиях.

Петров все-таки не устоял.

— Урезонил его Воробьев! — гаркнул во все горло. А горло у Петрова славилось. До школы трактористов он с отцом работал плотгоном на сплаве. Попробуй, когда плоты растянутся по реке длинной вереницей, попереговаривайся с одного конца на другой. Поневоле голосок разовьется.

— А что — урезонил! — раздался вдруг другой голос со стороны.

И Сенюшкин и ребята обернулись. Оставив плуг в борозде, позади них стоял колхозник с рыжеватой вьющейся бородкой, одетый в серую, шинельного сукна короткую куртку.

— Правильно «противник» делает, что послабления не дает, — продолжал он. — Разобраться если — довольно средне, ребятки, вы ползаете. Вон ты, к примеру, — указал он в сторону Ласкина. — Топыришься, что кочка, за пятьсот метров свободно невооруженным глазом просматриваешься.

— Товарищ колхозник! — насупил брови над серыми своими строгими глазами Сенюшкин. — Если претензии имеете, можно поговорить вечером, всегда рады встрече с населением. А пока прошу не мешать занятию. Ясно?

— Да уж куда ясней! Только зря ты ершишься, товарищ учитель. На послаблениях и условностях хорошего бойца не вырастишь. Вот сидел бы в дзоте настоящий противник, да как дал бы он пару коротких, сразу бы стало ясно — кто руками лишку машет, кто головой горазд крутить. Ну, а если мирные времена — тут уж сам командир должен глаз иметь требовательный.

— Слова говорить — одно, а дело делать — другое, товарищ колхозник, — еще более сурово ответил Сенюшкин. — В вежливой форме прошу вас удалиться.

Долговязый только усмехнулся: «Можно и дело показать», — подошел ближе, и тогда все заметили, что его борода — одна видимость, а возрастом он не так-то и велик, разве лишь на пять-шесть лет старше Сенюшкина, не больше. Илюха Воробьев даже признал его: встречались прошлым годом на усадьбе МТС, съехались там на подводах с железными бочками — за горючим. Только бороды у него тогда не было, оттрастил за год, должно быть, для солидности. Жениться, поди, собрался или уже женился, и Илюха мысленно прозвал его теперь женихом, смотрел выжидательно то на него, то на Сенюшкина: что-то получится?

А получилось вот что. Пахарь положил свою куртку рядом с пальто Сенюшкина, лег на землю и быстро пополз к дзоте. Ни одного лишнего движения не делал он, никаких рывков, полз, как после большого дождя вода течет по борозде, — плавно, неслышно, споро.

Сенюшкин, казалось, и о занятии позабыл, следил за пластуном, подымаясь на носки, силился найти хоть какую-нибудь ошибку в его действиях, но не находил и, когда пластун достиг амбразуры, крикнул ему:

— Давай снова! Я сам из дзота наблюдать буду.

— Давай,— согласился колхозник и, на ходу отряхивая сор с колен, стал спускаться с пригорка.

Досармовцы предвкушали удовольствие. Нет сомнения, что Сенюшкин одернет долговязого. Им очень хотелось, чтобы их руководитель его одернул: уж больно рыжебородый вел себя самоуверенно.

Но состязание не состоялось. Пластуна, когда он сошел вниз, окликнула рослая женщина в меховой душегрейке.

— Иван! — кричала она голосом начальника, привыкшего, чтобы ему повиновались.— Опять ты криво борозды распахиваешь! Зигзаги какие-то делаешь. Половину картошки в земле оставил.

— Извиняюсь, други-товарищи.— Долговязый поднял с земли куртку.— Бригадирша у нас, сами видите, какая. В другой раз потягаемся. Только ты, товарищ инструктор, уж знай: все равно моя верх возьмет. Во, видал? — Он достал из бокового кармана своей куртки большие серебряные часы.— Что написано, прошу полюбопытствовать.— И подал часы Сенюшкину.

— «Отличному разведчику фронта И. Н. Игнатьеву»,— вслух прочел Сенюшкин, глядя на массивную крышку.

«Верно, Игнатьев»,— вспомнил и Илюха Воробьев фамилию случайного знакомого.

А тот усмехнулся в бородку, принял от Сенюшкина часы и пошел к застоявшейся лошади. Трудно было представить, что этот тяжело ступающий человек так легко и быстро ползает.

Игнатьев разобрал вожжи, тронул лошадь. Он уже удалялся по борозде, налегая на рукоятки плуга, ребята же вместе с Сенюшкиным все еще глядели вслед: шутка ли, отличный разведчик фронта!

Пахарь, видимо, почувствовал эти устремленные в спину взгляды, обернулся, крикнул:

— По пластунской части я, можно сказать, академию прошел!

Занятие продолжалось. То Левшов сидел за «противника» в дзоте, то Воробьев Илюха, а то и сам Сенюшкин. Озадаченный было в первые минуты мастерством бывалого разведчика, этими почетными часами, инструктор понемногу успокаивался. Он нет-нет да и поглядывал теперь в сторону пахаря, краем уха слышал, как бригадирша все разносила Игнатьева за кривые борозды, и начал хитро улыбаться. Ребята заметили перемену в его обычно строгом, серьезном лице, и Костя Левшов уже успел кому-то шепнуть, что Игнатьев-де маленько прищемил бывшего сержанта и тот, мол, делает вид, что ему на это дело наплевать. Но Костя скоро пожалел о своих словах.

Устроив часа через полтора перекур, Сенюшкин подошел к Игнатьеву, предложил папиросу.

Игнатьев закурил, присел на край канавы. Он не обратил никакого внимания на слова Сенюшкина о том, что, дескать, и в самом деле распашка борозд у него получается не совсем-то красивая, но насторожился, когда тот взялся за плуг, и прикрикнул на лошадей.

Сенюшкин зашагал по борозде. Игнатьев продолжал сидеть, только лишь вытянул шею, чтобы видно было, что там мудрит серьезный инструктор. И чем больше удалялся Сенюшкин, тем больше вытягивалась шея Игнатьева. Наконец он тоже встал, заспешил вдогонку пахарю-добровольцу. Настала его очередь удивляться.

Плуг у Сенюшкина шел, как по нитке, ровно, земля мягко отваливалась на сторону, и крупные клубни картофеля раскладывались по дну и склонам борозды, будто на выставочной витрине. Это было настолько удивительно, что за Игнатьевым смотреть на работу Сенюшкина сбежалась вся огородная бригада. Требовательная бригадира откровенно восхищалась:

— Вот у кого учишь, Иван! Вот где чистота!

Но Игнатьев и без ее советов вышагивал рядом с Сенюшкиным, приглядывался к тому, как тот ловко управляет плугом.

— Эх, времени мало! — спохватился Сенюшкин, взглянув на свои часы. — А то бы я вам за полдня гектарчик целенький распашал. Ну, может быть, еще встретимся. Только, брат ты мой, — повернув на ручку плуга вожжи, он хлопнул по плечу Игнатьева, — трудновато тебе будет за мной поспевать.

Сенюшкин помедлил минуту, словно сомневаясь в чем-то, потом решительным жестом извлек из кармана пухлый, трепаный кошелек, порылся в набитых в него бумажках, бережно достал одну, проsekшую от времени на сгибах, захватанную пальцами, и развернул.

— На, смотри, что написано, — подозвал Игнатьева поближе. — «Лучшему пахарю района, товарищу Сенюшкину А. Г.». Александру Григорьевичу, значит. «Поздравляю с выдающимися достижениями на весновспашке...» А кто, заметь, подписал: сам народный комиссар!

— Н-да... — Игнатьев сдвинул шапку на затылок и принялся ерошить свою кудрявую бородку. И когда он расчесывал ее пальцами, там, под рыжими завитками, на щеке его открывалось не взятое загаром белое пятно.

«Ну как это я его в женихи произвел! — неодобрительно подумал о себе Илюха Воробьев. — Борода-то не для форсу, а для маскировки. Ведь шрам у него там здоровенный. Видал же я это в прошлом году...»

Илюхе досадно стало, что упустил тогда случай порасспросить Ивана Игнатьева о разведке, о разведчиках, о их опасной и героической работе в самой гуще вражеских войск. Теперь — где там! Разве расспросишь, инструктор уже торопит...

— За академию, в общем, не скажу, — прощался тем временем с колхозниками Сенюшкин, — а университет по пахоте вполне прошел. Ну, оставайтесь здоровеньки, занятия продолжать надо. А в случае чего — опытом, например, обменяться — захаживайте к нам в райсовет...

С занятий будущие трактористы, хоть они и крепко умаялись, атакуя дзотик, шагали строем и (почему это им так вздумалось? — никаких морей и флотов никто из них еще ни разу не видывал) пели про моряка, который красивый сам собою.

Сенюшкин шел позади колонны, машинально проверял глазом равнение в рядах, видел, как при каждом шаге ребят на остриях штыков коротко — и одновременно на всех — взблескивало полуденное солнце.

## МАКИ ВО РЖИ

Если бы утром того дня инженеру Горюнову сказали, что вечером он должен выехать на север Урала или даже на Камчатку, инженер Горюнов, то есть я, позвонил бы тотчас жене, чтобы она приготовила заплечный мешок и необходимые в долгих путешествиях вещи, получил бы командировочные и в двадцать два ноль-ноль, когда обычно отходит скорый поезд, ребятишки уже махали бы своему папе с перрона платочками. Ни со стороны провожающих, ни со стороны отъезжающего никаких особо острых душевных переживаний не последовало бы. Работа всегда есть работа. А работа разведчика-геолога известна. Здание, в котором два этажа занимает наше управление, обширно, главный фасад его растянулся на целый квартал, и все же в земных недрах под ним нет ни залежей угля, ни медных руд, ни золотоносных кварцев. Искать их — это непременно куда-то ехать, часто очень далеко, потом колесить по пескам или тайге, блуждать в горных ущельях или в долинах рек. За пятнадцать лет после окончания института я одних только сапог износил в таких походах пар пятьдесят. Жена давно привыкла к моим долгим отлучкам, привыкли к ним и дети, а обо мне самом и говорить нечего.

Повторяю, известие о поездке на Урал или на Камчатку я встретил бы как нечто обычное. Но секретарь нашего начальника Галина Сергеевна положила в то утро мне на стол удостоверение, в котором было написано: инженер Горюнов командировается в район села Слепнева.

Сказать, что я был взволнован,— это слабые слова, хотя я действительно был взволнован.

Сколько раз после войны хотелось мне съездить в этот «район села Слепнева», и всегда что-нибудь мешало: то очередная командировка, то кто-либо из ребят захворает, то просто времени не было. Времени, правда, на такое путешествие потребовалось бы немного: Слепнево на Камчатка, несколько часов поездом и десятка полтора километров пешком.

Однажды я даже встретил в городе слепневского жителя. Это было в музее Отечественной войны, куда меня в воскресенье затащили

ребятишки. В зале боевых реликвий возле спаренного зенитного пулемета стоял высокий насупленный дед. Служительница вполголоса, стараясь не тревожить строгой музейной тишины, уговаривала его пойти сдать пальто на вешалку.

— Не могу, мать, зябну, и не проси, — гудел старик в ответ. — Вот шапку скинул. Сам понимаю — храм... Геройские дела... Да я скоро уйду. Только и зашел на эту машину глянуть. Родня ведь... Сбил-то который шесть аэропланов метким огнем, слепневский, наш. Зять мне. Старшей дочки хозяин. Петр Федотов.

— А я, дедушка, тоже Петр, — ввернул мой младший.

И при его посредничестве завязалась беседа.

— Что тут толковать! — перебивал расспросы о Слепневе старик. — В словах всего не обкажешь. Вот реки вскроются, бери, товарищ, своих ребяток да и приезжай к нам. Избенка у меня просторная, лодку спустим, снастишки наладим — лососку ловить отправимся.

Разговаривая, он подергивал себя за седые, по-старинному, под горшок стриженные волосы, старался скрыть под ними свои уши.

Уши Ивана Трофимовича и лицо его в шрамах доставляли мне немалое беспокойство. Я боялся, как бы ребяткиши не спросили деда, отчего это у него так случилось. А случилось что-то, наверное, очень страшное. Уши слепневского рыбака были похожи на опаленные пламенем листья. Не хочешь, а невольно смотришь на них, и невольно возникает вопрос: отчего?

Но в смысле ребячьего любопытства все обошлось благополучно. Мы распрощались с дедом дружески, я обещал непременно приехать к нему на лососиный лов. Снова меня потянуло в Слепнево. И снова какие-то дела помешали моему намерению.

С получением служебной командировки дело решалось само собой. Хотя поисковая партия, работу которой мне предстояло инспектировать, базировалась не в самом Слепневе, а лишь в районе этого села, в болотистых заречных лесах, где недавно обнаружены новые залежи сланцев, тем не менее миновать Слепнево я теперь уже не мог.

Вечером мы всей семьей сидели возле письменного стола. Я извлекал из ящиков старые фотографии, затрепанные, протертые военные карты, на одной из которых район села Слепнева был густо испещрен встречными красными и синими стрелами, серыми зигзагами проволочных заграждений, черной осыпью минных полей, загадочными для ребяткишек квадратиками и треугольниками.

Назавтра я уехал.

В разгар летнего дня поезд подошел к тихой, давно мне знакомой лесной станции. Платформы тут не было. Пассажиры, в большинстве молочницы, возвращавшиеся с городских рынков, гремя порожними бидонами, прыгали с высоких вагонных подножек прямо на пыльный скрипучий гравий.

Одни из них с ношей в руках или за плечами шли по путям к укрытому тенью молодых тополей станционному зданию, где над боковым окном, как тугие струны, тонко звенели бронзовые провода. Другие, растапывая гравийную бровку насыпи, спускались к широкой канаве с застойной, рыжей водой на дне, переходили через нее по гнилым перекинутым шпалам и долго еще мелькали на узких, в лесу и в полях простроченных стежках.

Вдали, за канавой, подступая к опушке зелено-прозрачного березняка, зрела желтая нива. Мерно вздымались и падали в рожь гребенчатые крылья жнейки, будто там, сияясь взлететь, билась большая, грузная птица.

Иван Трофимович, помнится, все объяснил: и где «правой руки» держаться, и какую развилку оставить в стороне, и в каком месте свернуть «встречь солнцу». Но и без этих ориентиров я бы не сбился с дороги. Самое важное из объяснений деда было то, что путь от станции до его жилища займет добрых четыре часа.

Четыре часа жариться под солнцем, от которого дорожный гравий стал таким горячим, что, кажется, ступаешь по нему не в сапогах, а босиком,— кто без крайней нужды согласится на это? Не лучше ли обождать вечера, теплых сумерек, когда воздух пахнет луговыми травами и переспелой земляникой, когда в теле бодрость и ноги идут сами собой.

Проводив поезд, взметнувший при разбеге плотные клубы пыли, я пошел к станционному зданию. Оно стояло на том же месте, где и прежде. Но прежде было старое, черное от времени и паровозной копоти и от первой бомбы рассыпалось грудой бревен и досок, искрошенного кирпича, рваного железа. Новое обшили рубчатым тесом, окрасили в зеленый цвет — в тон веселым тополям. Снова были на станции и неизменный буфет и буфетчица в шелковой красной кофте. Прохлада стояла в буфетном зале, и было в нем очень желто от коленкорových штор, по которым, как по воде ветреным днем, бежала мелкая рябь от ветвей и листьев, шумевших за распахнутыми окнами.

Официант в полотняном кителе стоял возле углового столика, где сидели женщина, возраст которой трудно поддавался определению из-за молодившей ее белой кружевной косыночки, небрежно накинутаой на волосы, и мужчина лет пятидесяти, плотный, с крупными чертами лица.

Женщина, подперев щеку рукой, через стекла пенсне разглядывала картины, развешанные в простенках между окнами. Обычный для железнодорожных буфетов сюжет: украинская, крытая подстриженной соломой хатка, острые тополя, заросший пруд с гусями, видимо, не привлек ее внимания. Она едва скользнула взглядом по пестрой мешанине и надолго остановила его на изображении лохматой охапки полевых цветов, среди которых властвовали крупные, как

огненные бабочки, маки. Женщину явно привлекали эти ярко-красные цветы.

Мужчина, указательным пальцем вычерчивая на скатерти какие-то фигурки, тихо толковал с официантом, называл его при этом по имени-отчеству. Официант кивал головой — то ли соглашался, то ли не соглашался, — а когда пошел к буфетной стойке, прихрамывал, и при каждом его шаге слышалось сухое пощелкивание.

Я сидел за столиком возле окна, на котором шторы опустили только наполовину. Из-под нее можно было видеть закрытый семафор и рельсовый путь.

Путь шел на подъем и пропадал в лиловой щели леса. Напротив семафора, через насыпь, стояли две старые березы: одна — с раскидистой, пышной кроной, другая — острый обломок. На нем торчала одинокая живая веточка.

Среди фронтowych фотографий, которые я перебирал накануне в своем столе, есть и такая, где обе эти березы, как гигантские метлы, метут безоблачное небо густыми кронами. Зато семафор на том снимке переломлен, согнут петлей, как журавль, уткнувшийся клювом в землю. А над ним смотрят ввысь длинные стволы подвижной батареи — кубическое нагромождение стальных листов и плит на тяжелых платформах с множеством колес.

Я спросил официанта, не помнит ли он тот день, когда развалины станции тряслись от пальбы сошедшей на сушу корабельной артиллерии. Официант ответил, что он нездешний и застрял тут временно, по инвалидности. А вот есть на станции телеграфистка Наташа, она местная, ее если спросить...

Он улыбнулся, как мне подумалось, по адресу телеграфистки Наташи, помедлил возле столика, кашлянул в ладонь.

— У меня к вам, товарищ, тоже вопросик будет. Не слышали, депо, говорят, у нас собираются строить? — спросил он, подсаживаясь на свободный стул. — Сланец будто бы возле Плавкова нашли. Ветку туда поведут... А то, верите, вот как приходится мне эта должность! — Официант ребром ладони рубанул себя по шее и отбросил на подоконник полотенце, которое комкал в руках. Придвинулся ближе, приглушил голос: — Слесарь был, ремонтник.

Потом, узнав, куда я иду, он воскликнул:

— В Слепнево! Так вот же вам попутчики! Пал Леонтьч, слышите? С вами...

— Присим в компанию, ежели желаете, — отозвался плотный мужчина из-за углового столика. — В компании верней. Нового человека эти дорожки-развилочки враз задурят. Туда сверни, сюда... Мы, было, третьим годом...

Он отхлебнул пива из стакана и так и не закончил фразу.

Когда жара поуменьшилась, плотно укутанной полевой дорогой мы шли вдогонку солнцу, спускавшемуся за далекие леса. До самого

переезда, от которого начиналась эта дорога, нас, прихрамывая, провожал официант. С моими случайными спутниками он попрощался, как старый знакомый, мне сказал:

— На депо крепко рассчитываю. Нога, конечно, того... протез. Ну да ведь ноги — они что!.. Ноги только футболиста кормят. А я слесарь.

Оглядываясь, я долго видел, как бывший слесарь ходил и шарил руками по краю ячменного поля. Что он там искал? Может быть, васильки или розовые гераньки для телеграфистки Наташи?

Мы шли без спешки. Я гадал, зачем моим спутникам понадобилось Слепнево. На дачников они не похожи. Дачники тащили бы свертки, сетки, чемоданы, а у них только потерянная клеенчатая сумка, да и та не слишком набита. Местные жители? Тоже, пожалуй, нет. Мне никогда не удавались опыты разгадывания профессии по внешнему виду человека. Павла Леонтьевича я мог бы принять и за бухгалтера, и за учителя, и, если угодно, даже за врача. Жене его, Анастасии Михайловне, мной было определено в жизни место домашней хозяйки, этакой хлебосольной, заботливой.

Разговор у нас не завязывался: Анастасии Михайловне не часто, должно быть, удавалось выбираться на загородное приволье. Она ступала как-то по-домашнему, мелкими шагками. С лица у нее не сходило выражение молчаливого благоговения перед окружающей природой. На этом по-городскому бледном лице удивительно выглядели глаза, такие черные, что, когда она снимала пенсне, казалось, будто две большие капли туши падали на ватман.

Шаги Павла Леонтьевича были грузней и реже. Он подобрал по дороге березовую палочку, вроде кнUTOвища, но не опирался на нее, а выбрасывал вперед по-особенному, отчего она чертила на пухлой пыли зигзаг полувосьмерки. Павел Леонтьевич добивался единообразия и четкости рисунка, это его, видимо, забавляло. При пешем хождении на далекие расстояния человек всегда старается придумать какое-нибудь нехитрое занятие, чтобы путь казался короче. Считает, например, телеграфные столбы, сбивает посошком придорожные травы или одну за одной поет все известные ему песни.

Мне на этот раз ничего не надо было придумывать. Я никогда не хаживал в Слепнево, дорогу же к нему отлично знал вплоть до Кустовского леса, где впервые ощутил дружескую поддержку земли в час артиллерийского боя, научился различать по звуку калибр летящего снаряда. И понятно, что, снова ступив на эту памятную дорогу, я искал на ней знакомые следы минувших времен. Вот там, влево, — лесок. В нем прежде стояли брезентовые палатки санитарного батальона, туда часто сворачивали через пашню машины с красными крестами на кузовах. Здесь, возле самой обочины, должны быть капоныры гаубичной батареи...

Время шло, и многое переменялось. В леске мелькали лоснящимися боками черные с белым коровы; пастух в клеенчатом плаще стоял на

опушке и из-под руки смотрел на нас; капоныры почти сровнялись с землей, в них сочно зеленела высокая трава. Теперь взглянет прохожий и не подумает о том, для чего рылись эти квадратные широкие ямы. Ямы и ямы. Может быть, глину брал кто-нибудь для печки...

Миновали деревню. Только из надписи «Витинская добровольная пожарная дружина», выведенной красным на бревенчатом сарае, узнал я, что это Витино. Ни одной знакомой избы. Стоят новые, с лохматой паклей в пазах между бревнами домики.

— Как это быстро все! — прервала сосредоточенное молчание Анастасия Михайловна. — Когда мы шли тут в первый год после войны, деревни не было. Не деревни, вернее, а домов. Люди жили в землянках. Восемь землянок. Нарочно сосчитала.

Я давно заметил, что иной раз совершенно незнакомые люди рассказывают вам о себе так, будто вы уже знаете их историю и они только хотят напомнить отдельные ее эпизоды. Так именно заговорила и Анастасия Михайловна.

— Каждый раз, — сказала она, — когда я иду по этой дороге, я вижу его как живого. В пыльной потной гимнастерке, с ружьем на плече. Шагает, совсем-совсем взрослый... Подумать только, мы с вами ступаем на те же песчинки, на те же камушки, по которым и он шел в своих тяжелых сапогах!..

— Настя! Настя! — строго окликнул Павел Леонтьевич.

Но Анастасию Михайловну не остановил его предостерегающий оклик.

— Разве вы, — она даже коснулась рукой моего плеча, — разве вы осудите мать за разговоры о сыне? Если бы вы только знали его, нашего Виктора!.. Мы сидим за поздним обедом с Павлом Леонтьевичем... Это были самые первые дни войны. Состояние, понимаете сами, тревожное. А тут еще и Виктора с утра нет. Вдруг телефон. Звонит старинная моя приятельница... Это, говорит, не о вашем Викторе пишут в газете? Тоже Беляев, тоже окончил школу с медалью...

Анастасия Михайловна сняла пенсне; оно, качаясь, повисло на тонком шелковом шнурке.

— Я его спросила вечером, — продолжала она, подслеповато щурясь, — почему он это скрыл от родителей. «Не хотел, говорит, тебя огорчать, мама. Ты бы разворчалась и так далее». Почему же и так далее, Витя? Если ты первым пошел записываться на фронт, значит, твоя семья тебя так воспитала, значит, твоя мама...

— Ну брось ты, прекрати эти разговоры! — Павел Леонтьевич взял ее под руку. — Погляди лучше, какая благодать кругом.

Он перестал чертить восьмерки на пыли, нес палочку под мышкой, ступал еще грузней. Позади нас в бесконечность тянулись три длинные тени. Солнце ушло в сосны, утратило свои очертания, путалось в деревьях, косматое, будто огромная кисть, обмакнутая в сплав золота

с кармином; казалось, кто-то незримый из края в край мазал этой кистью по небу, по земле, широко, не разбирая. Неутомимое летнее солнце так же щедро маляричало и в тот вечер, когда, целясь прямо под него, бросали свои десятипудовые снаряды морские пушки с железнодорожных платформ. Она права, эта мать: мы шагали сейчас не только по следам ее сына, но по земле, истоптанной тысячами ног в армейских сапогах.

Хотя мы долго потом шли молча, но женщина в мыслях, наверно, продолжала свой рассказ. Несомненно, это было так, потому что вслух она внезапно сказала:

— Вначале, конечно, надеялись. Но разве что-нибудь изменишь надеждой! Не нас одних постигло такое горе... И вот, когда надеяться давно перестали, когда окончилась война, вдруг получаю письмо. Возвращаюсь после уроков из школы и достаю его из ящика на дверях. Верчу в руках. Боже!.. Нет, вы этого не поймете... Адрес-то, адрес на конверте был написан моей рукой! Вернулся откуда-то ко мне один из тех тридцати таких узких, с фиолетовой каемочкой конвертов, которые я старательно надписывала в последний вечер перед тем, как Виктор должен был уезжать на фронт. «Поленишься сам-то, — сказала ему, — знаю тебя. На, и пиши маме хотя бы по одной строчке каждые три дня». Я ведь думала, что война окончится в три месяца.

Она виновато улыбнулась и продолжала:

— Обещала писать чаще, каждый день. И только вот через четыре года пришло первое письмо в моем конверте. Я не могла сдвинуться с места. У меня дрожали руки. Я страшилась раскрыть конверт. «Неужели не может быть чуда?» Я готова была поверить...

— Вот что, Настя, — решительно заявил Павел Леонтьевич, останавливаясь на дороге. — Или разговоры, или ходьба. Что-нибудь одно. — Он так ткнул палочкой в землю, что переломил палочку надвое и отбросил ее за канаву. — Нет, в самом деле. — Павел Леонтьевич обернулся ко мне. — Расстроит себя этими разговорами, слезы начнутся.

Чувствовалось, что слова его были предназначены не столько мне, сколько Анастасии Михайловне, и что они своего рода косвенная просьба извинить его за грубость. Но Анастасия Михайловна уже обиделась, замолкла, и разговор окончательно разладился.

Землю тем временем прикрыли летние сумерки, с полей и из леса к дороге подступала теплая тьма, пахло вянувшими травами. С высокого неба, скрещиваясь, валились отцветившие звезды. След их, белый, держался мгновение и угасал навсегда. В лугах изо всех сил работали дивизионы кузнечиков. Два филина, стараясь как можно страшнее ухнуть, пугали друг друга в лесу. Далеко в стороне девичьи голоса тянули песню, и можно было разобрать, что поют там о молодом казаке, который гуляет по Дону.

Где они устроились, эти девушки: на бревнах ли за околицей, у прудка ли, на взгорке у дощатой мельницы? Или сцепились руками

и ходят по деревенской улице, дразнят парней, которые в сторонке светят огоньками папирос?

В памятные мне дни в этих местах тоже торчали на пожнях приземистые коңусы тугих снопов, сложенных в бабки, и тоже стояли такие теплые вечера и тихие ночи. Но в тех ночах единственным голосом был голос патрулей, бесшумно выступавших перед вами из придорожных кустов, чтобы окликнуть коротко: «Пропуск!».

Теперь поют девчата, и беда ли в том, что ночь так коротка, что еще до солнца суровая мать растолкает на жатву заспавшуюся дочку, подымет запрягать коней только под утро залегшего на сеновале сына? Немолоды были мои спутники, но, думал я, и их, должно быть, тянуло в этот час подсесть к тем завершившим день певуньям, послушать да и подтянуть про донского казака.

Песни остались позади. Лесные вершины сплелись над нами, посвежело. Мы шли как в туннеле. Шаркали по дороге башмаки притомившегося Павла Леонтьевича, постукивали каблучки Анастасии Михайловны.

Вскрикнула сова и пролетела так близко, что в лицо пахло ветром от ее бесшумных, мягких крыльев. Тени мерещились в лесных потемках, вставали над осыпанной сосновыми иглами землей. Минувшее теснилось вокруг. Я закрывал глаза, видел вновь, как по глухим тропинкам спешили незримые связные, в окопах ждали приказа незримые стрелки, а возле скрытой в ельнике палатки шагал наш полковник, путаясь ногами в жестких стеблях гоноболи. Он только что поставил свою подпись под этим тщательно продуманным приказом, который понесли в пакетах, спрятанных за пазухой, связные. С рассветом — атака на Слепнево...

Кончился Кустовский прохладный лес. Снова с лугов тянуло травами и теплом. Обочины дороги оскалились бетонными клыками надолб, сброшенных в канавы. Тут был когда-то передний край. А дальше... дальше лежала земля, мне неизвестная, хотя я трижды топтал ее в атаках и, кажется, здесь вот, среди этих надолб, полз однажды, раненный в бедро.

Залаяли в разногласицу псы, разбуженные нашими шагами. Мы шли по длинной улице Слепнева. Навстречу подымалась ленивая луна; холодный свет ее до берегов заполнил шумевшую на каменистых перекатах реку; деревня в лунных тенях казалась голубой. И только два оконца, как стерегущие кошачьи глаза, желтели в этой дымной голубизне.

— Свои, Ефим Лексеевич, свои, — сказала Анастасия Михайловна, когда после ее стука в раму одного из светлых окон там, за стеклами, по листьям фуксий скользнула кисейная занавеска.

Двери открыл высокий и, как почти все высокие, сутулый человек одних лет с Павлом Леонтьевичем; на нем было черное пальто, в спешке застегнутое криво, и разношенные, широкие валенки.

— Еще прошлой субботой ждали, Анастасия Михайловна. Чуяли: должны вы быть в такую пору, не иначе. Как здоровьишко, Павел Леонтьевич? — говорил он, приглашая в избу.

Пригласили и меня: куда, мол, идти по незнакомым местам ночью. Утро вечера мудреней.

В избе, чистой, новой, не утратившей еще свежего смоляного духа, под оклеенным белой бумагой потолком светилась электрическая лампочка. Под ней крупнотелая хозяйка, закинув голову, со шпильками, зажатыми в губах, торопливо поправляла густые волосы...

Павла Леонтьевича сразу же — передохнуть с дороги — уложили на высокую постель, из-за множества подушек и накидочек похожую на заметенную снегом скирду. Женщины занялись приготовлением ужина.

Пока разгорался огонь на шестке русской печки, мы с хозяином вышли вдвоем на крыльцо, закурили. Мне очень хотелось сказать хозяину, что его село было для меня тем первым рубежом, через который я из мирной жизни переступил в войну, и что здесь, может быть, даже возле его огорода, потерял двух лучших своих друзей. Но хозяин словно угадал мою мысль.

— Живем,— заговорил он,— отстроились, а о том и не вспоминаем, какой кровью далась нам эта жизнь.

Вскоре я понял, почему хозяин заговорил о крови. Он, видимо, знакомил меня со своими ночными гостями и, сам того не ведая, продолжил прерванный рассказ Анастасии Михайловны о ее сыне.

— Привела меня Наташка в поле под вечер,— говорил он, прислушиваясь к возне в доме.— Лежит малец, как спит: лицом спокойный, рука под щекой. Глянул я, подумал: и то утешение матери — смерть легкая. Похоронили ночью, могилку вырыли, честь по чести. Наташка, дочка-то, сильно убивалась: молоденький, дескать, что наш Петруша. Чернявенький. А мало ли их, молоденьких, в тот день полегло! Отбили наши Слепнево на час да снова отошли, считай, до самой станции. И получилось, что и мы-то, деревенские, не успели за боевую линию выскочить, опять в лес вернулись, в землянки свои сели. Что ты скажешь! Промашка ли у наших какая случилась? Немец ли силенок прикопил?

Обстоятельно, подробно рассказывал Ефим Алексеевич о горячем дне. И все же он не знал главного. Да и откуда было ему знать, что в ту багровую от пожара ночь, когда он в пустынном поле хоронил безусого бойца, командующий фронтом в своем докладе Ставке особо отметил стойкость ополченцев! Внезапная наша атака на Слепнево заставила противника до срока развернуть силы и потом еще долго биться на здешнем рубеже впустую.

Нет, ничего этого не знал мой хозяин. Припоминая, он повествовал лишь о своем:

— Под осень снялись с гнездовий, стали в леса подаваться, к партизанам. Ну, и перед тем, как уходить, зарыли скарбишко домашний в землю: авось сохранится до светлых дней. А от паренька того, забыл сказать, оставались у меня документы: билет комсомольский, записочки всякие да конвертов с бумагой пачка. Держал я их в дупле дубовом вместе со своими всякими грамотками. А тут такое дело: под тем же дубом с приметиной решил и их зарыть — одно уж к одному. Обернул клеенкой...

Метя по земле длинными полами тулупа, остро отдававшего сырой кожей, к крыльцу из-под соседних берез вышел ночной сторож, поздоровался, попросил огонька, пыхнул дымом.

— На приречном амбаре замок менять надо, Ефим. Дужка хлябает.

— Вот разживемся деньгой, на все амбары новые замки навесим.

— Долгонькая песенка! А я, пока ты деньгой разживаешься, ходи округ того замка да трясись?

— У каждого своя должность.

— Вот я и говорю: ты председатель, ты и подавай!..

Сторож начинал горячиться, председатель отвечал спокойно и невозмутимо, тем не менее разговор грозил перерасти в ожесточенный спор. Помешала этому Анастасия Михайловна. Она тоже вышла на крыльцо, сказала, что хозяина зовет хозяйка: погреб открыть надо.

Ефим Алексеевич ушел, Анастасия Михайловна спустилась с крыльца к сторожу. Они долго толковали о Маришке — я понял, что это внучка сторожа, — об ее отметках, о постоянных двойках по алгебре. Но я плохо слушал их разговор. Я сидел и вспоминал своих товарищей по третьей роте. В уме складывалось письмо Бакланову, который в Магнитогорске, Костину — в Краснодар, Дорошенко — в Молдавию... Всем, всем надо бы написать об этом знаменитом районе села Слепнева, где мы впервые почувствовали себя не геологами, не электриками, не агрономами, а солдатами. «Дорогой друг! — мысленно сообщал я инженеру-нефтянику Костину в Краснодар и даже явственно видел, как ложатся синие строчки на бумагу. — Не зря мы сидели в траншее на опушке Кустовского леса, не зря ползали через клеверное поле...»

Я рассказывал дальше о том, как один советский человек, возвратясь с войны в родной край, первое, что сделал, — достал из прогнившего добра конверт с адресом и отправил письмо неизвестной ему женщине — матери нашего товарища по дивизии. Сам он, этот человек, потерял сына, сам застал на месте деревни головешки — до чужого ли, казалось бы, горя, когда своего столько!..

Я вздрогнул от неожиданного прикосновения чьей-то руки. Анастасия Михайловна, закончив разговор со сторожем, уходила в дом и решила спросить меня, как мне понравился Ефим Алексеевич.

— Правда, хороший человек?

Вопрос был задан на ходу, я не успел даже ответить: она уже скрылась за дверью, должно быть нисколько не сомневаясь в характере моего ответа. Зато не умолчал сторож, которому снова понадобилась спичка.

— Тоже удивила: хороший человек! — ворчливо начал он. — На своего бы лучше поглядела!.. Весь отпуск прошлым летом прокрутился тут, паром нам ладил через реку. Годочки немолодые, а на ногах от свету до темна. Ругался — это верно, здорово честил. Да и как по-другому? Народ у нас пахать землю мастер, а он, глянь, лодки строить всех поднял. И опять же лодки бы что! Их бы одолели. Цельных две баржи! Ефим наш, даром что председатель, полным корабельщиком у него, у Павла-то Леонтьевича, сделался. Вот какие дела ноне пошли! Посмотришь на иного мужичонку, ну что в нем! Нос картохой, глаза, рот мохом заросли... Так себе портрет. Да, вишь ты, не спеша высказываться. Может, герой Отечества перед тобой — что тогда?

Я спросил сторожа, не знает ли он рыбака Ивана Трофимовича, у которого зять в зенитчиках был.

— Кто его не знает! — ответил сторож. — На весь колхоз рыбачит. Как переедешь паромом реку, вправо держи берегом — там и будет его избушка. Вот тоже сказать: портрет — отвернувшись, не насмотришься. А знаменитый дедка! Орден имеет, медаль партизанскую. Проведай его, товарищ. Рад будет, гостей любит. Да у него и сейчас их полон дом. Горные разыскатели понаехали. Сланец будто бы ищут. Вот Трофимыч и водит их по болотам. Лучше его наших мест никто не укажет.

Утром, по петушинуому крику, поднялись хозяева и гости. Мылись на затравелом дворе холодной водой из колодца, поливали ее друг другу на руки долбленным из липы ковшом.

— Ну и водичка! — отфыркивался Павел Леонтьевич. — Лед! А есть любители именно в такой купаться. Как это можно — не пойму! Я холод крепко недолюбиваю. Еще, знаете, с тех пор, как однажды во время войны флот приш тось на Ладоге к навигации готовить. Ветер, стужа... Мне, мастеру-то, не было времени бегать в барак греться, топчешься на берегу, весь день на морозе. Ноги даже немножко прихватило.

Настала моя очередь подставлять пригоршни под ковш. Вода обжигала пальцы, я морщился. Павел Леонтьевич улыбнулся.

— Рады бы, поди, в рот взять да погреть, как ребятишки? А вот в здешнем колхозе старик один есть; его немцы в колодец бросили. Только представьте себе: январь, крещенские морозы, воробьи дохнут под крышами. А его нагишом...

— Не надо, Павел! — воскликнула Анастасия Михайловна. — Не надо! Не могу об этом слушать!

Она прижала к ушам маленькие сухие ладони; бледное лицо ее стало еще белей.

— Из шомпольного дробовика наповал уложил генерал-интенданта, — скороговоркой добавил Павел Леонтьевич.

Я еще в дни войны слышал о том, что где-то в этих местах был убит партизанами крупный немецкий интендант. Хотелось подробней узнать о стрелке, сразившем его волчьей картечью. Но пришлось пощадить нервы Анастасии Михайловны.

После завтрака, когда я собрался было прощаться с хозяевами и идти к парому, меня остановил Ефим Алексеевич.

— Нет, — сказал он решительно. — Попали в Слепнево, так уж надо посмотреть его как следует. Вот сейчас все вместе в поле сходим... Говорил я вчера, что, мол, не вспоминаем мы пролитую кровь. Оно точно, редко вспоминаем. А и не забываем ее. Нельзя забывать.

Было воскресенье, но на току стучала молотилка, над ней взлетали ключья изжеванной соломы, вихрастым облаком клубилась пыль, прослоенная тракторным лиловым дымком. На дороге скрипели колесами широкие телеги. Высоко на них, на уложенных крестом снопах, сидели ребятишки и дергали вожжами. Вozy терлись об изгороди скотных прогонов, и из снопов, как желтый волос, вычесывались цепкими плетнями длинные ржаные стебли.

Павел Леонтьевич и Анастасия Михайловна с хозяйкой, запоздавшей на молотью, шли впереди. Мы с Ефимом Алексеевичем приотстали. Он был теперь не в пальто, а в синем просторном пиджаке со звездчатыми оттисками орденов на ворсистых лацканах. Шагал размашисто, твердо. Так ходит уверенный в себе хозяин. Должно быть, так же неторопливо Ефим Алексеевич водил своих лесных бойцов к завалам на дорогах — встречать огнем немецкие карательные отряды, или к железнодорожному полотну — подкладывать тол под рельсы. Зажжет бикфордов шнур и, не прибавляя шагу, спустится в природорожный кустарник, ожидает взрыва, хозяйственный, спокойный.

Глаза его смотрели зорко: они примечали и колосья, разбросанные на дороге, и опрокинутый ветром суслон, и оброненные кем-то с воза трехзубые вилы. Вилы он поднял, воткнул в землю торчком, чтобы не затерялись. Окликнул длиннорукого подростка в желтой майке, граблями на жнивье подгребавшего колосья, указал ему безмолвно на суслон. Подросток побежал перекаладывать разбросанные снопы.

Я спросил Ефима Алексеевича, долго ли он партизанил.

— Два с половиной года. До тех пор, пока не пришли наши, — ответил он. — А тогда к войскам пристал. Вместе с дочкой, с Наташкой. Только разминулись мы с ней, в разные части угодили. Я в Восточной Пруссии воевал. Ее в Венгрию, в Будапешт, военная дорожка повела. Телеграфистка. На нашей станции теперь — старшая в аппаратной.

Ефим Алексеевич нагнулся, что-то схватил в траве. Я думал, ужа. Но это был ременный чересседельник.

— Что ты скажешь! — покачал головой колхозный председатель. — Как можно было такой предмет потерять? Стараться будешь и то не потеряешь. Эх ребята, ребята!

Мы пересекли жнивье и остановились возле небольшого квадрата невыкошенной ржи. Бронзовые колосья со звонким шорохом сталкивались на ветру, и среди них, будто огненные бабочки, цвели крупные маки. Лепестки, осыпаясь, устилали пурпуром могильный, обложенный дерном, невысокий холмик, как будто на нем раскинули боевое знамя.

Анастасия Михайловна уголком своей кружевной косынки протирала пенсне, смотрела прямо перед собой туда, где в живой ограде терялся четырехгранный — в цвет макам — конусный столб с врезанной под стекло маленькой фотографией. Белолицый мальчик, по-взрослому сдвинув брови, смотрел на нее.

Надо ли было читать надпись, выжженную на столбике?..

Сияло ослепительное солнце, и я подумал, как под его такими же лучами телеграфистка Наташа и ее сутулящийся отец отыскивали в поле затерянную могилку, поднимали холмик, резали заступами плотный дерн, как кто-то из них бросил потом на свежий суглинок щепоть мелких маковых семян. Может быть, отцу с дочерью казалось, что спит здесь, на родимой стороне, их не вернувшийся домой Петруша? Но только выжгли они на сосновом столбике чужое имя. Но только заботятся с тех пор слепневские жницы, чтобы вокруг могилки из года в год оставалась живая ограда спелых хлебов. Слетаются птицы на маков цвет, на цвет, часто сопутствующий смерти, но рождающий в природе жизнь, клюют зерна, шумят, дерутся тихими зорьками...

Тихой вечерней зорькой я пересек на пароме реку и шел по лесному обрывистому берегу. Мягко пружинили под ногами моховые кочки, в можжевеловых кустах били крыльями тяжелые тетерева, синебокая сойка гналась за мной, перелетая с ветки на ветку, и по-старушечьи резко что-то выкрикивала.

Я спешил разыскать на берегу рыбачью избушку, где остановились мои товарищи по горной разведке. Из смутной догадки выростала уверенность, что пригласивший меня к себе на лососиный лов молчаливый дед с опаленными крещенским холодом ушами — великий мастер стрельбы из шомпольного дробовика.

## ШЕСТЬДЕСЯТ СТРОК

Лежу в госпитале на улице Красного Курсанта, на третьем этаже огромного здания, в котором до войны много лет готовили кадры для военной авиации.

Через улицу какой-то заводик; судя по оглушительному реву, заводик ремонтирует мощные моторы. Рядом с его воротами до вчерашнего дня стояла проходная будка. Вчера ее вместе с вахтером разнесло ударом тяжелого снаряда. Взрывная волна вышибла заодно и окна нашей палаты, осыпав койки битым стеклом.

При таких обстрелах многие ходячие спускаются в подвал, в бомбоубежище. Это обязательно, таков приказ. Несут туда на носилках и тех, кто не ходит. Но многие уваливают от бомбоубежища. Потому что несколько дней назад немецкий снаряд пробил фундамент здания и разорвался именно в подвале.

Фронтвики тоскуют о блиндажах, о траншеях, просто об открытом поле, где можно залечь в канаве или в воронке и всегда знать — в тебя или не в тебя направлен очередной снаряд. Тут, лежа на койке, думаешь, что каждый раз он в тебя. А главное — нет этой верной, надежной земли, которая не выдаст, спасет, оборонит. Здесь ты совершенно беспомощен.

По два, по три раза в день мы слушаем тугие хлопки оружейных выстрелов в районе Стрельны или поселка Беззаботного, где расположена дальнобойная артиллерия немцев, а за хлопками слушаем и вой снарядов, грохот разрывов — частенько очень близких. Видимо, и большой госпиталь и предприятие, ремонтирующее моторы для чего-то — может быть, для самолетов или танков, — цель до крайности заманчивая и обозначена как первоочередная на картах тех, кто вот уже десять месяцев осаждает Ленинград, пытаясь взять его измором.

В госпиталь я попал спустя несколько дней после годовщины войны, и случилось это вот как.

Меня, сотрудника отдела фронтовой жизни газеты «На страже Родины», вдруг вызвал секретарь редакции. В его узкой, сумрачной комнатенке с единственным окном на проспект 25-го Октября сизыми

пластами плавал табачный дым: наш секретарь безудержный курильщик; табак у него лежит ворохами прямо на столе, на рукописях, на гранках; табаком набиты ящики стола; у него всегда можно стрелнуть на завертку и, завертывая, стащить еще на две. Он не заметит, потому что непрерывно правит рукописи и, даже разговаривая с тобой, смотрит только в них.

— Товарищ Кочетов, — сказал он, решительно перечеркивая большой абзац в чьей-то статье, — когда вы работали в «Ленинградской правде», вы бывали в частях ополченцев. Я читал ваши корреспонденции о них. Послезавтра годовщина народного ополчения. Надо дать в газету яркий материал о том, как из ополченцев выросли кадровые бойцы и командиры Красной Армии. Увлекательная тема. В номер на третье июля. То есть сдать надо завтра, самое позднее к середине дня.

— А какой размер, товарищ капитан?

— Размером не стесняйтесь. Сколько выйдет. Лишь бы хорошо.

Я стащил у него горсть табаку, благо суровый капитан был увлечен перечеркиванием следующих абзацев статьи, и отправился в отделы штаба фронта выяснять, где стоят части, которые в июле 1941 года были сформированы как дивизии народного ополчения.

И вообще надо было разузнать, остались ли такие, потому что связь со своими друзьями из 2-й ДНО я в тяжелые месяцы блокадной зимы терял.

Мне рассказали, что бывшие ополченцы держат оборону под Урицком, штабные их учреждения расположены в районе больницы имени Фореля — пусть я отправлюсь туда, там и найду искомое.

Возрожденный трамвай подбросил меня почти до Кировского завода, дальше я двигался пешком к больнице Фореля; потом, тоже пешком, от штаба дивизии шагал до штаба полка, от штаба полка до КП батальона — до землянки, врезанной в насыпь мертвой железной дороги Ленинград — Гатчина Балтийская. В батальоне мне сказали, что если я по торфяным луговинам, поросшим ракитой и можжевельником, проберусь почти под самый Урицк, то на НП найду замечательного парня — артиллериста, который перед войной ремонтировал водопровод в Пушкине, а сейчас он старший лейтенант, командир батареи 76-миллиметровых пушек, орденоседец, орел.

Мне дали провожатого, или связного, маленького красноармейца, ростом до моего плеча, беловолосого, голубоглазого, не очень по виду воинственного, доброго, мирного, с веснушчатым молодым лицом. Шли мы с ним долго: шли канавами, пригибаясь; шли кустарником, используя давно позабытый человеком метод передвижения на четырех конечностях; а по открытому, которого тоже было немало на нашем пути, ползли по-пластунски. «Хорошо, — думалось мне, — что такая годовщина пришла на июль, а не на наш слякотный ленинградский ноябрь, вот было бы дело!..» А связной сказал, утирая

пот с лица: «И что вас так припекло на НП днем идти, товарищ командир? У нас тут в общем-то связь ночью. Спокойней».

Кое-как я ему объяснил смысл задания капитана, на выполнение которого оставалось очень мало времени, ждать до ночи никак нельзя, завтра днем материал уже должен быть написан и сдан в номер.

— Так ведь можно было и вчера это сделать, и позавчера, и неделю назад, — резонно возразил связной.

— Газета... — объяснил я довольно туманно. — У нее свои законы.

Сказал так и стал с нежностью думать о никому постороннему не понятных, путаных, подчас нелепых законах редакционной газетной жизни. Самое удивительное, что их и не было вовсе. Или, точнее, если и был, то один-единственный, неписанный, но железный: что бы ни случилось, что бы ни произошло, а материал должен быть доставлен вовремя. Во имя этого не будешь спать ночь, вторую, третью, во имя этого прошагаешь пешком полсотни, сотню километров, во имя этого пропустишь чьи-то очень важные именины, наживешь семейные неприятности, во имя этого обойдешься без выходных, проблуждаешь сутки голодный, обморозишь ноги или нос — если зима, поссорисься с тем, с кем не хотел бы ссориться. На что только не пойдешь во имя этого, чего только не перетерпишь?! Таков закон. Если он для тебя излишне суров и ты им недоволен, уходи из газеты в любую иную профессию, но не прикидывайся журналистом, газетчиком. Все равно у тебя ничего не выйдет. Ты, возможно, пробьешься к каким-нибудь административным газетным должностям, но будешь не журналистом, а чиновником от журналистики. В этом амплу можно даже процветать, преуспевать: ездить, например, в персональной машине, получать талончики в закрытый распределитель, по особым пропускам ходить в театры и на стадионы, сидеть в президиумах общегородских собраний, быть чертовски довольным жизнью и собой и при этом где-то в глубине души... еще более чертовски завидовать настоящим журналистам, завидовать злобно, непримиримо, нехорошо, мстя им при случае за то, что они вот такие, а ты вот другой.

Ну мог ли я обо всем этом рассказать моему провожатому?

Место для блиндажа наблюдательного пункта артиллеристов было выбрано на склоне осушительной канавы, которая тянулась параллельно фронту. Канавы была глубокая, но воды в ней оказалось едва на четверть, и, если сапоги не протекают, по ней можно было пробираться далеко вправо и далеко влево. К входу в блиндаж НП через канаву мостиком были перекинуты доски.

Хозяин НП, старший лейтенант, встретил нас радушно, принялся угощать чаем из термоса. Связной чаю не захотел, он уселся в уголке на ящик из-под снарядов (из этих ящичков, откуда-то натасканных сюда по ночам, состояла вся мебель блиндажа: стулья, столы, лежаки для спанья) и мирно захрапел, уткнув голову в винтовку, положенную поперек колен.

Я записывал в блокнот биографию командира батареи, его боевой путь. Да, верно, родился и жил он в Пушкине, был водопроводчиком; началась война — пошел добровольно в ополчение; сражался на разных участках фронта, поучился на краткосрочных курсах и вот — артиллерист. Хорошо ли он стреляет? Что ж тут об этом рассказывать? Боевые эпизоды? Их было немало. Но не лучше ли показать все на практике. Эпизоды никуда не уйдут, а солнце уже спускается к земле, скоро начнет смеркаться, тогда ничего наглядного не покажешь. У него есть резерв — три снаряда, которыми он сегодня может распорядиться по своему усмотрению.

Со смотровой амбразуры блиндажа откинули завешивавшую ее плащ-палатку («а то немецкие наблюдатели засекут блеск наших стекол»), и комбатр пошел к стереотрубе.

— Под вечер у них всегда начинается движение, там, в Урицке. Пешие. Конные. Пешие нам ни к чему. А ударить по телегам, подводам — можно. Уже несколько дней наблюдаем подводу, в которую запряжена белая крупная лошадь. Что-то возят. Может быть, харч. Может быть, боеприпасы. Вон по той дороге...

Я тоже смотрел в стереотрубу. Отлично видел улицы, здания хорошо мне знакомого Урицка, вокзал станции Лигово, ту дорогу за железнодорожным полотном, на которой надо было ждать белую лошадь с подводой. Видел немецких солдат, свободно расхаживавших среди домов. Один колот дрова во дворе, другой развешивал белье на веревках. Странно было: будто заглядываешь в чужую жизнь. Должно быть, и они там, эти гитлеровцы, разглядывают нас со своих НП, когда мы ходим здесь, у себя, по канавам и тропинкам в кустах...

Комбатр хотел было уже выпустить свои снаряды, направив их в окна кирпичного дома, в котором он заметил проявление жизни, но наконец появилась желанная подвода. Да и я увидел ее. Увидел белую лошадь. Ящики на подводе. Двух возниц.

Артиллеристы обрадовались. Комбатр скомандовал необходимые цифры, телефонист передал их на огневые позиции. Менее чем через минуту позади нас уже бахнуло.

Снаряд разорвался на дороге, вправо от подводы. Лошадь понеслась, возницы отчаянно ее подхлестывали. Второй снаряд ударил или прямо в подводу, или уж очень рядом с нею: только обломки и обрывки полетели во все стороны вместе с дымом взрыва. Жалости ни к кому и ни к чему не было, даже к лошади, хотя еще во времена своей агрономической деятельности я очень полюбил этих умных, терпеливых, безотказных животных. Была радость: здорово! Очень здорово! Побольше бы таких попаданий, почаще. Тогда поскорее бы кончилось наше изнурительное сидение в осаде, мы перешли бы в наступление и добрались до чертова Берлина, с его имперскими канцеляриями, с генеральным штабом, радиостанциями Геббельса, гестапо Гиммлера, тайниками Гитлера...

Да, я напишу очерк о замечательном старшем лейтенанте, который не зря тратит снаряды, с таким трудом изготавливаемые голодными, истощенными ленинградскими женщинами и ребятишками-подростками, отправляющимися по утрам не в школу, за парту, а на завод, к станкам. Напишу о том, как мирный человек стал солдатом. Напишу два подвала: ответственный секретарь сказал, что о размерах можно не думать, лишь бы получилось хорошо.

Вечерело, когда мы с провожатым двинулись назад, к Ленинграду. Солнце было совсем низко над землей. Тянуло холодком с Финского залива. Хорошо бы шинельки набросить на плечи. Но мы оба были в гимнастерках. Длинные наши тени поспешали по торфянистым луговинам впереди нас.

Было очень тихо, как бывает летними вечерами в деревне. И в этой тишине вдруг отчетливо стукнул за нашими спинами выстрел миномета. Поблизости от нас разорвалась мина. Стукнул второй выстрел — и мы уже не стали ожидать нового разрыва, легли на землю. Земля была сырая, неприятная, но она спасала.

— Это куда же они лупят? — сказал я.

— А кто ж их знает, — ответил связной. — Может, в нас. Траншеи-то ихние метрах в семистах, не более. Высмотрели в бинокль или в стереотрубу...

Мои недавние мысли обретали материальное подтверждение. Не только мы каждый день, каждый час заглядываем через оптические стекла в чужую жизнь, но и немцы заглядывают в нашу жизнь. Сейчас мы с веснушчатым парнем были в роли тех возниц, которые час-полтора назад подхлестывали белую лошадь. Неужели и с нами будет то же? Неужели и нас достанут не первой, не второй, так третьей, четвертой, десятой миной?

Выстрелов больше не было слышно. Мы осторожно поднялись и быстро пошли вперед, пошли пригибаясь, полагая, может быть, что так будем менее заметны на открытой луговине.

Но нет: снова выстрел — и вот уже третья мина, за ней — четвертая.

Опять лежим на холодной, сырой земле, на такой сырой, что под локтями, упершимися в грунт, проступает вода.

— Давай побежим, — говорю я связному, — не то простудимся.

— Можно, конечно, — говорит он как-то растерянно. — Но я, товарищ командир, с дороги сбился. Должна быть слева колючая проволока. Она ориентир. А ее нету. Вроде, мы на наше минное поле зашли.

— Как же быть?

— Не знаю.

Лежу, осматриваюсь. А что, если и в самом деле мы на заминированном участке? Как узнать, где тут мины, по каким признакам их определяют? Я спрашиваю об этом своего провожатого.

—Колышки должны бы виднеться,— отвечает он уныло.— Не вижу их. Вы думаете, я солдат? А я только четвертый месяц в армии. Я же агротехник.

— Агротехник?! Я тоже агроном!

Мы лежим, разговариваем. Он вспоминает свою Орловщину, техникум, который окончил три года назад, родной колхоз, куда вернулся после учения, эвакуацию в приволжские села, потом воинскую часть, в которую попал минувшей зимой, переправу по ледяной Ладоге в Ленинград...

Я думаю о том, что и его судьбу надо будет как-то вставить в очерк о мирных людях, ставших солдатами. Удивительно: мысль работает уже над тем материалом, который завтра должен быть сдан в секретариат. Но ведь вокруг, может быть, минное поле! А если даже его и нет, то попробуй подымись, по тебе примутся палить из минометов.

Холод пробирает все основательней. Лежать и дожидаться, когда окончательно стемнеет, уже невозможно. Тем более, что в эту пору, на переломе июня к июлю, еще буйствуют белые ночи и темноты все равно не будет, сколько ни лежи.

Мы решаем бежать. Мы встаем и бежим. Бежим, как журавли, высоко подымая ноги. Смешно, но нам кажется, что так меньше опасности напоротся на мину, а если и напорешься, то она разорвется где-то, мол, внизу, под тобой, а ты будешь высоко над нею. И еще думается, что при таком быстром и легком касании ногами земли взрывателю мины не хватит нашей тяжести, чтобы сработать.

Словом, подскакивая, еле касаясь земли, несемся по равнине.

За спиной знакомый аккуратненький, нешумный выстрел. Взвизг мины. Разрыв. Но мы бежим. И только когда следующий разрыв очень близко, падаем, и на этот раз — в неглубокое тинистое болотце...

Надо ли описывать весь этот путь, покрытый терниями? Не достаточно ли сказать, что среди ночи я прошагал пешком мимо больницы имени Форея, миновал Автово, Кировский завод, прошел пустынную улицу Стачек, в которой гулко отдавались мои шаги в кирзовых сапогах, площадь возле Кировского райсовета, заставленную бетонными конусами надолб и «ежами» из сваренных автогеном рельсов — на случай вражеского воздушного десанта,— потом шел по набережной канала Грибоедова, по проспекту Маклина, по улице Декабристов, по набережной Мойки, по улице Герцена — мимо Исаакиевского собора и гостиницы «Астория», а там и на наш проспект 25-го Октября, который мы все по старой памяти чаще называем Невским...

В редакцию вошел в шестом часу утра. Все еще спали. Только в приемной редактора сидел над листками бумаги дежурный, молодой, но удивительно бодрый поэт Александр Флит, или, как его обычно у нас зовут, «папа Флит». Он вполголоса прочел мне только что сочиненные им ядовитые стишки о Маннергейме.

Я ушел к себе, залег на койку. Меня знобило. Но надо было как можно скорее написать материал о бывших ополченцах.

У меня уже было написано несколько страниц, когда нас созвали на обычную ежедневную планерку в кабинет к редактору.

— О том, как из ополченцев выросли кадровые воины,— сказал ответственный секретарь, докладывая план завтрашнего номера,— шестьдесят строк дает Кочетов.

Два моих роскошных подвала распались в прах. Но спорить было бесполезно: макет есть макет, железная рука его вычертила, а этой рукой водила железная необходимость втиснуть в номер как можно больше, и притом самого нужного, самого важного материала, и ничего уже не поделаешь. Действовали все те же, неписанные, никому не понятные, жестокие законы газетной жизни.

Сократил свои страницы до шестидесяти строк. Сдал в секретариат. Их заслали в набор.

Но утром в газете не оказалось и тех шестидесяти строк. Пришел какой-то другой, более важный материал, мою заметку сначала отложили — годовщина миновала, миновала и надобность в материале, приуроченном к ней,— а потом отправили в корзину. А меня отправили в госпиталь. Воспаление легких и ревматическая атака сердца.

Когда отлежусь, когда поправлюсь, снова будет какое-нибудь срочное журналистское задание, и снова отправлюсь куда угодно — за шестьдесятю, за тридцатью очередными строками, и снова, может быть, они полетят в корзину. А все равно необыкновенно интересно ходить за ними.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Памятник другу . . . . .	3
Гром в апреле . . . . .	13
Пациенты Квасникова . . . . .	21
Встреча на берегу реки . . . . .	29
Стычка у дзота . . . . .	36
Маки во ржи . . . . .	43
Шестьдесят строк . . . . .	56

**Всеволод Анисимович КОЧЕТОВ**

**ПАМЯТНИК ДРУГУ**

Составитель **В. А. Кочетова**

Редактор **Д. К. Иванов**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

---

Сдано в набор 17.04.84. Подписано к печати  
15.06.84. А 10273. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,8. Учетно-  
изд. л. 3,94. Тираж 92000 экз. Изд. № 1457.  
Зак. № 2613. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина.  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



● **ПРЕДЛАГАЕТ ПРОКАТ**

Кинокамеры и кинопроекторы,  
фотоаппараты, увеличители, бачки,  
кюветы и другие  
фотопринадлежности  
предлагают на любой срок  
фото- и кинолюбителям  
салоны и пункты проката.

**Росбытреклама**